


У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕДОПЫМ
ISSN 0134 - 241X URAL STALKER 5-6'1993

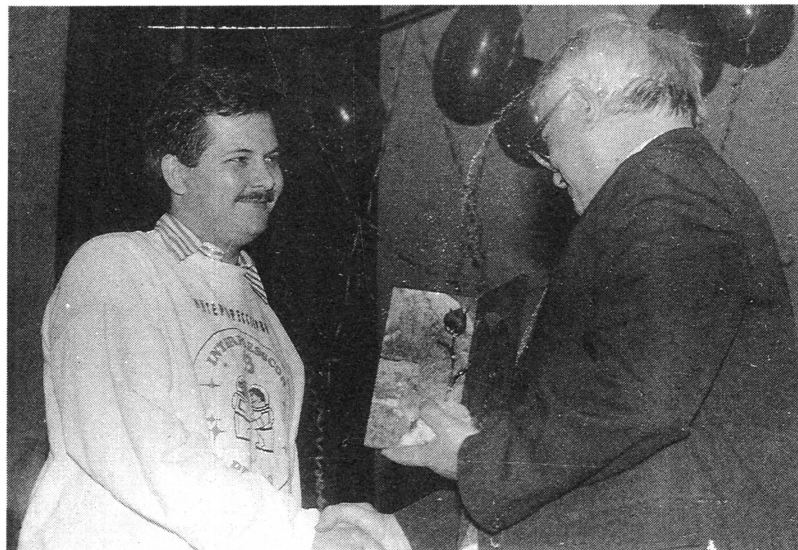


**БРОНЗОВЫЙ
МАЛЬЧИК**
роман
Владислава
КРАПИВИНА
стр. 9

**Джим ВУЛЬФ
ПЯТАЯ ГОЛОВА
ЦЕРБЕРА**
фантастическая
повесть
стр. 37

КАЗАЧЬЕ ЗОЛОТО
Александр
ДМИТРИЕВ
стр. 93

ЕКАТЕРИНБУРГ АЭЛИТА-93



23 апреля в Екатеринбурге в присутствии 120 гостей из других городов (общее их число — 37) и стран (кроме России, были представлены Украина, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Приднестровье и Болгария) состоялось вручение призов «Аэлиты» и «Старт». Лауреатом «Аэлиты» — ежегодного приза за лучшее произведение отечественной фантастики — стал писатель из Ставрополя Василий Дмитриевич ЗВЯГИНЦЕВ, автор романа «Одиссей покидает Итаку». Приз «Старт», вручаемый с учетом мнений КЛФ страны — за лучшую первую книгу, присужден алмаатинцу Сергею ЛУКЬЯНЕНКО, выпустившему в прошлом году сразу две книги — «Атомный сон» и «Рыцари сорока островов».

На снимках: главный редактор «Уральского следопыта» готовится вручать «Аэлиту-93» сидящему справа от него Василию ЗВЯГИНЦЕВУ; лауреат прошлогодней «Аэлиты» Сергей ДРУГАЛЬ вручает приз «Старт» Сергею ЛУКЬЯНЕНКО; в зале ДК автомобилистов.

Фото
Владимира
КОБЛОВА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз Писателей России,
Ассоциация советских
книгоиздателей,
трудовой коллектив журнала

ИЗДАТЕЛЬ:

Издательство
«Уральский следопыт»

Журнал основан в 1935 году,
возобновлен в 1958 году.

РЕДАКЦИЯ:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Виталий БУГРОВ,
Юний ГОРБУНОВ,
Сергей ГРИГОРЬКИН
(главный художник),
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора),
Ольга НАГИБИНА
(исполнительный директор),
Андрей ПОНИЗОВКИН,
Юрий ШИНКАРЕНКО,
Нина ШИРОКОВА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Виктор АСТАФЬЕВ, Сергей
КАЗАНЦЕВ, Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН, Николай
НИКОНОВ, Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Борис СТРУГАЦКИЙ, Марат
ШИШИГИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620219, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГСП-353, ул. ДЕКАБРИСТОВ, 67
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:
223-662 (ФАНТАСТИКИ),
224-501 (КРАЕВЕДЕНИЯ, СЕКРЕТАРИАТ),
220-481 (ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ,
ПУБЛИЦИСТИКИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ,
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ)

Компьютерная верстка выполнена
в ТМ "КВН УПИ".
Оператор: А. БЕЛЯШКИН

Рукописи принимаются перепечатанными
на машинке через 2 интервала, 60 знаков
в строке, 28-30 строк на странице.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

По вопросам подписки и доставки
обращаться в районные отделения
"Россвязьинформа"

Бракованные экземпляры отправлять
в Чеховский полиграфический комбинат.

Подписано к печати 12. 05. 1993.
Формат бумаги 84x108 1/16.
Бумага типографская N2.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 10, 9
Уч.-изд. л. 16, 2
Усл.кр.-отт. 10, 4
Тираж 115760 экз.
Заказ N-921,
С.-5

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати и информации
Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской обл.

На 1 стр. обложки: Пельм
Слайд А. НАГИБИНА

© "Уральский следопыт", 1993 г.

У Р А Л Ь С К И Й СЛЕДОПЫТ

ISSN 0134 - 241X URAL STALKER 5-6'1993

В НОМЕРЕ:

Кленовая моя, Кленовая... Мария ПИНАЕВА	2
Павел, сын Павла. Очерк Николай МЕЗЕНИН	7
Бронзовый мальчик. Роман Владислав КРАПИВИН	9
Этюды моих одиссей. Стихи Владимир СИБИРЕВ	33
Краеведческая копилка	34
Пятая голова Цербера. Фантастическая повесть Джин ВУЛЬФ	37(103)
Заочный КЛФ	63
Перед вечной тишиною. Стихи Лев СОРОКИН	88
Сыны и дочери полков Владимир ЗУЕВ	89
Маленькие истории большой войны Семен ШМЕРЛИНГ	91
Казачье золото Владимир ДМИТРИЕВ	93
Мир на ладони	96

В 7-12 НОМЕРАХ «УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА»

фантастические повести

В. ФИРСОВА «Сказание о четвертой луне»
Алексея ИВАНОВА «Корабли и галактика»

рассказы

М. НЕМЧЕНКО, А. ПАЗАРЧУКА, С. ДРУГАЛЯ

Повести

В. КОБЫЛИНА «Побегушники»
М. СЕМЕНОВОЙ «С викингами на Свальбард»
ЛУИ Д'АМУРА «Сивозь перекрестный огонь»

Кленовая моя, Кленовая...

Вернуться в Кленовую мне захотелось еще весной — сразу, как только выехали за околицу. Сопки, окружающие село, остались где-то там, над волнами Бисерти и Пута, а нас вдоль дороги отправились провожать их други в зеленых еловых шлемах. Мы ехали с дня рождения села. Уже тогда хотелось остановиться, приблизиться к людям, предки которых триста лет назад поселились на этой земле. Но калейдоскоп праздника был столь разнообразным, что лучше было набраться терпения и подождать. Подождать, когда настанет время вернуться в Кленовую и разглядеть ее поближе.

Глава первая

В ЛАДОНЯХ БОЖИИХ

Самым сильным впечатлением того весеннего дня была служба. У стен разрушенной Свято-Никольской церкви сам архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек осеняет крестом наши повинные головы. Довольно ветрено, но свечи не гаснут, а только трепещут, пугают возможностью погаснуть, и мы, не умеющие еще всем сердцем полагаться на волю Божию, прикрываем — каждый свою — свечи ладонями. Кленовские стоят, склонив головы, некоторые на коленях. Нас окружают зеленые горы, такие высокие здесь, что кажется: лес этот с облаками на его вершинах — нездешний, и голоса певчих — голоса незримых в вышине. На литургии много молодежи — парни рослые, красивые; дети льнут к свечам. Мы все — как будто в ладонях Божиих, желаемые и прощаемые на этой Кленовской земле...

А сегодня, полгода спустя, в Кленовой уже почти ночь. 603-й, красноуфимский, обронив нас прямо на приснеженную железнодорожную насыпь, уходит, рассекая темень огнями. Мы идем с Подкидышевым вслед ему до переезда. Здесь нас должна встретить Тамара Яковлевна на своем «мерседесе», то бишь «запорожце». Но никого нет, только два приземистых мужчины с котомками да высокий парень — руки в карманы — обгоняют нас. Кленовские горы в ночи завораживают больше, чем днем. За ними, где-то в глубине неба, свет — здешнее «северное сияние». Я еще не знаю, что завтра вечером здесь, в деревне, мне прочтут стихи оттуда, с этого тихого мерцающего неба. Стихи Валерия Кленова:

Кленовая моя, Кленовая,
Ты тоска, ты и радость ты,

Здесь от хутора и до края
В старых окнах душа твоя...

Валерия убили в городе: подошли на улице и ткнули чем-то острым, беспощадным... Я еще не знаю этого, не вижу синих глаз его сестры Нины, протягивающей мне черновики недописанных стихов. Я стою за переездом, как бы у входа в село, и просто чувствую и понимаю, что этот свет с неба что-то означает.

Юрий Трофимович помотал меня, конечно. Но откуда бы ему ночью безошибочно найти дорогу к дому главы администрации поселкового совета Тамары Яковлевны Ноговициной? Он бывал здесь — ну так ведь все равно не своя деревня, чтоб с завязанными глазами свернуть в какой надо закоулок, село-то ни много, ни мало — на шесть километров расположилось. Радуюсь мерцающей красоте ночи, поглядывая на дома и окна, потухающие прямо на наших глазах, мы шли себе и шли потихоньку. Задерживая дыхание по системе доктора Бутейко, я готова была от щедрот своих отстегнуть радости профессорам и кандидатам Екатеринбургского кардиокорпуса: глядите, ребята, как продвигается в морозном воздухе приговоренная вами сердечница! Возле очередной развилки Подкидышеву пришлось все-таки брякнуть в окошко крайней избы. Не интересуюсь, кто припожаловал в 12 ночи, ворота открыл мужик. Негромко — трамваи в деревне не перекрикивать — рассказ, где дом Ноговициной.

Бедная Тамара Яковлевна! Она не знала, сколько радости доставила мне, перепутав день нашего приезда, и извинялась ни за что. А вот нам, разгулявшимся на воле, было стыдно будить среди ночи всю округу: собаки-то разбазлались — до Нижних Серег слышно.

Она же мне еще на 300-летию твердила, что Кленовая — место особое, та-

ких людей нигде нет! Хвалят от сердца, ругают — без злобы, деревню любят на деле, потому что не бросают. А если случится грех, сдернуло кого городским поветрием, смотришь — назад едут.

Она и сама в бегах была. Сейчас твердит: «Каждый день благодарю Бога, что вернул меня на землю!»

Одна бабка застанет нас на другой день у ворот Тани Белоглазовой, доярочки со второго отделения. «Вы чего тут колотитесь?» — «Вот, ходим — хороших людей фотографируем». — «Хороших? А плохих куда девать?»

Народ суров, но справедлив! Таня, когда поймает ее в день работников сельского хозяйства возле клуба, закачает головой: «Нет, нет, какое фотографироваться — я недостойна». Маленькая, как школьница — шапочка вязаная, клетчатое пальтишко. Геннадия Дяткова, братьев Александра и Виктора Феденевых около часа будем отлавливать, чтобы поставить перед фотообъективом. Как вкалывать — они незаменимы, а как пропаганде угасающей помочь — так их нету. Фотографироваться?! Да лучше умереть! Только командно-административным нажимом удастся вывести их на завьюженную улицу и щелкнуть. А если ВСЕХ лучших механизаторов, чествуемых в этот день в доме культуры, где полным залом, как полной чашей, соберутся односельчане, выстроить перед фотообъективом? Не потянет объектив, не захватит всех. И журнальный лист не потянет обо всех записать, их слишком много. И у них слишком развито чувство собственного достоинства, чтобы лезть в телевизор или на газетные страницы. К директору совхоза Валентину Павловичу Копылову и подступаться не стали, а талант, говорят, — только в «Играй, гармонии» снимать на всю страну, никто еще рядом с его гармошкой не усидел. Портрет сделать? Лучше не рисковать — пошлет вежли-

во. Где в теляшке или на киноэкранах или в пропитанных политическим ядом газетах — где все эти люди, эти крестьяне (ХРИСТИАНЕ) в ладонях Божиих?

Второй час ночи. Мы сидим на маленькой кухне, согретые травяным чаем, планируем завтрашний день. Глава администрации сыплет и сыплет в мой блокнот имена. Я на глазах созреваю и уже готова бежать по заснеженной кленовской дороге — на ферму, в тракторный парк, в школу, в больницу, в пекарню, в аптеку, в детский сад — навстречу людям, которых не знаю, но почему-то очень хочу узнать.

Глава вторая

«А Я ВСЕГДА СМЕЮСЬ!»

Сельские встречи не выбираешь, кто встретится — с тем и поговоришь. Ферму мы нашли быстро: накатанная полозьями, слегка подраукрашенная навозом да клочками соломы дорога не дала бы заблудиться. Рыжая коренная — тягловая — лошадь подтвердила наше умение ориентироваться на местности.

По мнению помощника бригадира Галины Леонидовны Орловой мы не очень-то вовремя заявили на ферму: в «красном уголке» мыли стены, окна, красили обогревательную трубу в фисташковый цвет — готовились к предстоящей субботе. Вспомнился Аксак: «Слава Богу», что народ наш так неподатлив, так неподвижен, так упрям, так упорен, так тяжел на подъем, что все усилия переряженных из «образованного класса» разбиваются о его неподвижность».

Если честно — в глазах не больно много праздничности, но шутки скользят по усталым лицам. «Я даже посчитала: только десять ден в месяц мы имеем право хлебушко-то теперь поить, остальное — пастбищное содержание!» — «Ак ить две-то тыщи зарплаты тебе, поди, в излишек будет? Или ты че, может, ишло с сахаром чай захотить пить?» — «А я гляжу — че с нами делаю-ю-т! И чем дальше — тем все интереснее, теперь уж и навовсе получку не дают!» Все это под общий хохот, наперебой. А потом вдруг серьезно, глядят мне прямо в глаза, как бы надеясь, что оповещу весь мир: «А мы порешили, будем бедствовать, но совхоз разрушать не дадим. И против купли-продажи земли восстанем». — «Можно спросить, — несколько робею я. — Коли так тяжело, коли петля сдавила шею — чего смеетесь?» За всех отвечает приземистый мужичок в само-

дельном свитере с пуховым воротом (кто вязал — жена, дочь, сестра?) под рабочей спецовкой: «А я всегда смеюсь!»

...Вообще-то в «роддом» не пускают посторонних, но нам, не пойму, за какие заслуги, Галина Леонидовна делает исключение: «Только соломинку в зубы возьмите, а не то сглазите наших новорожденных». Я знаю правило и беспрекословно подчиняюсь.

В «роддоме», низко над ясельками, — лампы под металлическими плафонами. Свет и тепло — прямо на малыша. Мы, хоть и с соломинками в зубах, все же опасаемся подойти к новорожденным, сознательность побеждает любопытство. Тем более, что тут есть еще «профилакторий», в котором телята уже стоят на ножках, даже пытаются бодаться. Этих можно и погладить. Я протягиваю руку к черному выщемуся лбу, но шершавый и до невозможности слонявый язык под широким мокрым носом перехватывает



ее и начинает усердно засасывать, чавкая и причмокивая на весь коровник.

В субботу, в день работников сельского хозяйства, когда, сидя рядом в клубе в ожидании торжественной части, разговоримся потихоньку с Таней Белоглазовой, она много чего расскажет про них — про «крупный рогатый скот», про все его замашки и хитрости, и телячьи нежности. Директор совхоза назовет Таню в числе передовиков: оказывается, девочка в детской шапочке надаивает 98 тонн молока! Этот приток владает в общую молочную реку второго отделения — в 884 тонны. Куда только утекают эти реки — вот вопрос на засыпку. В совхозе, во всяком случае, не задерживаются, и берега в русских деревнях не кисельные...

Таня не ждала поощрения, разволновалась, когда услышала, что награждена квитанцией на выдачу теленка весом до 80 кг. Не зная, куда девать хо-

зяйственную сумку (все прихватили в этот день сумки да тощие кошельки, надеялись: может, чего ребятишкам хоть к празднику забросят, хоть пряников каких подешевле), сунула ее, пустую, слипшуюся клеенчатыми боками, мне и поднялась на сцену навстречу директорскому рукопожатю. А потом сидела и, изучая квитанцию, бормотала что-то насчет того, что выкармливать теленка нечем.

Мы не сумеем уже в праздник вернуться на ферму и сейчас, морщась от щекотного чавканья лобастого теленка, я мало знаю про Таню — разве что общую канву ее жизни. Знаю, что Миша, Павлик-младший и Алена у них с Павлом погодки — десять, девять и восемь лет; знаю, что не пьяная сменя, как и большинство коренных кленовских семей — село кержацкое, нравы стойкие. Знаю, что Таня далеко не единственная такая и концом света ее не напугает. Да и других тоже. Полина Дьякова, к примеру, по семейным

показателям опередила Таню: там отец, Сергей Николаевич, аж пятерых строжит!

Я мало знаю про Таню, не заглянула я еще в ее голубенькие глазки, еще не намокли в них слезки на колесках, когда там же, в зале, перед торжественной брякну по нечуткости неосторожный и глупый вопрос. И не знаю, а только может быть догадываюсь я, что из Кленовой она не выезжала никогда. Отправила было после школы документы в Зайково — хотела выучиться на ветеринара, а потом «побоялась чужой жизни» и быстренько по почте вытребовала их обратно.

А пока я вижу только ряды животных с цепями на могучих шеях, с грустными человеческими глазами и женцину в белом халате и белой косынке, похожую на сестру милосердия. Она рассказывает нам и про Таню, и про Полину Дьякову, и про Анну Феденеву, да

про все на свете — даже про сапоги по четыре тысячи, которые завезли недавно в Кленовую — и ни одна доярка не купила, денег нет. Эта женщина приветливо реагирует на мои заезжие умиления телятами и, по-моему, больше всего опасается, чтобы мы с фотографом вдурю ненароком не замарались. «Ах, какое одухотворенное лицо!» — воскликнул один мой городской знакомый, увидев портрет Галины Орловой. «Ох, какое чудо — неужели в самом деле доярка?» — всхлипнет знакомая журналистка.

Пока возможны подобные «высокие» оценки — не будем мы единым народом, потому что это хуже расовой дискриминации.

Выходя из коровника, я чуть не свалилась, запнувшись за высокий соломенный порог, приваленный к воротам. Галина Леонидовна широко, привычно шагнула через него, поправила выдранный моим сапогом клоч. Проводила на дорогу, которая вела к дому Тани Белоглазовой, где мы и услышали, безрезультатно отстучав в ворота и окна: «А плохих куда девать?»...

Глава третья

ПО СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ

В Кленовую пришла зима. Уже в три часа ночи, глянув в подрисованное окошко, я догадалась, что утром нам придется вспахать белый снег. Чем до боли цепляет Кленовая: здесь слова обозначают то, что и должны обозначать: речка — так речка, а не какая-нибудь говнотечка. Лес — так лес, рябчики на столах не переводятся. По ягоды пойти — не с трехлитровым бидончиком с восхода до заката спину гнуть — а ведро, не сходя с места. Вот и снег: уж и вправду — белый!

Раннее утро, светово еще не обозначенное. Пылим мы с Юрием Трофимовичем по снежной целине, он рыцарски пашет впереди, ботиночками прокладывая дорогу. Обычное дело, мелочи, так и должен поступать мужик — не мне же его за собой вести. Но перевернутость нынешних представлений все же обрабатывает, и я готова прослезиться. Ладно, колющий ветер со снегом в лицо не дает, да и Трофимыч обижается, когда его благодарят. Мы пробираемся в тот край деревни, где у самого леса дом бывшего директора совхоза Уткина. Тамара Яковлевна сказала, что если я не увижу Василия Сидоровича (теперь он на пенсии) — не постичь мне и Кленовой.

Дом на самом берегу. Где-то здесь, в этих снежных просторах, очерченных

лесом, река Пут, наплутавшись и напутавшись среди лугов и холмов, да и по самой деревне хорошо напетляв, впадает в Бисерть. Озираюсь по сторонам, и сразу беспокойный вопрос: неужели этот дом, который смотрится ниже уровня реки, не заливает весной? Подкидышев объясняет, что мы идем по дамбе, а она, дескать, пропасть не даст. Но я по своей Кунаре знаю, что весной на характер реки никакими строениями не угодишь: если захочет разлиться — все равно по-своему сделает. Так что дамба-то дамба... Повертев в калитке какие-то проводочки, мы проникаем за изгородь, которую, впрочем, можно бы и перешагнуть.

Вот только когда до меня дошло, для чего это в первое же кленовское утро, сунувшись помочь Тамаре Яковлевне на кухне, я обварила паром пальцы правой руки, да так сильно, что ходила теперь с двумя громадными пузырями, как с янтарными кольцами, — для того, чтобы я запомнила радушие бывшего директора. «Кольца» дружно лопнули, и я, не ожидая такого рукопожатия, издала звук. «Что ж, теперь отвечать придется», — сказал хозяин. Тут же из обшарпанного шкафа была извлечена картонная коробка с выцветшими таблетками, и супруга Василия Сидоровича, называя коробку аптечкой, открыла в ней какую-то подозрительную цвета мазь с давно истекшим сроком годности. С волнением о последствиях моего ожога, мазь была обильно выдавлена на опавшие волдыри и припечатана кусочком бактерицидного лейкопластыря, вскрытого, быть может, год или два назад.

Александра Иосифовна просто недопражаема. Из-за ее одной хочется вернуться в Кленовую еще и еще. «А вас такая уж слишком близкая вода не беспокоит?» — «Что вы! Нас заливает каждую весну! Вы видели вышку на доме? С нее лучше всего глядеть ледоход, а потом разлив. Единственное тяжело — Василий Сидорович не может туда подняться, и я одна наслаждаюсь этим неопишуемым зрелищем! Такая красота, что я про себя прошу: побудь еще, не исчезай!»

Красота оставляет в их доме злоешие следы: уровень воды явственно отмечен на мебели, если прикинуть по ноге — чуть ниже колена. Но это для меня — злоешие. Это меня, если бы имела полировку и хоть бы капнула на ее неотразимость, кондрашка бы хватил. А Уткиным хоть бы что! Главное интересно: объявляют себя марксистами, а об Маркса даже и не запачкались. Марксистский фундамент — заниматься сперва бытием, а потом на его полировке строить сознание — они утопили в смешанных водах Бисерти и Пута, и невозвратно, незримо воссияло над их чертогом благословение Бо-

жие: «Всякий просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят». В наш дикое, со всех постромков сорвавшееся время, когда многие уж поторопились разучиться радоваться жизни, они кажутся невозмутимыми и безмятежными в своем нелепом, неприемлемом с общепринятой точки зрения гнезде. «Василий Сидорович, а вас жена слушается?» — «Да стараюсь, до плетки пока дело не доходит».

Уткины живут без икон, во всяком случае, я не заметила, но в этом доме услышала и постаралась наматывать на ус: «Не грехи — так и замаливать нечего будет». Их говаривала свекровь, Глюкерия Михеевна. Опять же в Евангелие вписано: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

Они жили в старом деревянном доме у тракта: свекровь, своих троих детей да племянников, где только могли собирали — и с его, и с ее стороны, всех в люди вывели. Жирных кусков никогда в рот не пихали, жили от полочки до полочки семьей от девяти до двенадцати человек. Это знала и запомнила Кленовая. Никогда они не чванились, людей Уткин принимал в любое время и в любом месте — где застанут. Она тоже — сроду не понимала, что жена начальства, 42 года проработала в школе и всю жизнь протаскала с авоськами.

Александра Иосифовна спрашивает меня, как будто я уполномочена снять ее сомнения: «Что же будет-то? Вчера по ТВ обсуждали о купле-продаже земли — и ни одного крестьянина там не было. Люди с асфальта решают нашу судьбу...»

Однажды, когда кленовские пацаны, незаметно став парнями, приготовились учиться защищать Родину с оружием в руках, директор явился на проводы призывников. Каким бывает в таких случаях отеческое слово — нет на этот счет указаний и циркуляров. Слово Уткина было таким:

Отделится туманами десятый класс,
Два года цвесь черемухе
у нас без вас.
Не в гости к теще, к бабушке,
не на блины
Вы на защиту Родины пошли, сыны.
Куда вам после армии —
всплывет вопрос.
Чеканным шагом воина —
марш в наш совхоз!
Вернетесь в жизнь гражданскую,
как в первый класс.
Все девки в наступление
пойдут на вас.
Женись на той, которая
за службу в часть
Вам триста писем выслала,
в любви клянясь!

Дом, в котором для тебя пишут стихи, вряд ли захочешь покинуть.

Через час мы отправимся в клуб на торжественную и увидим могучее кленовое дерево: Крохалевых, Лутковых, Дороховых, Сажиных, Екимовских, Егарминых, Копыловых, Киселевых, Завьяловых; его обновляющуюся крону — Детковых, Феденевых, Отевых, Бабиковых, Малафеевых, Белоглазовых, Омельковых, Татауровых, Изгагиных, Дьяковых, Орловых, Вараксинных, Змеевых, Нефедовых... Сыновья и дочери Кленовой умели слушать отцовские наказания всегда, поэтому и не сохнет дерево, а, наоборот, наращивает годичные кольца. Награждение лучших механизаторов и животноводов будет длиться сорок минут — я засеку по часам...

Василий Сидорович с разлюбленной своей Александрой Иосифовной выходит на берег нас провожать. У плоскодонки, неподвижно лежащей черной горбиной, зарывшейся в снег до весны, до неминуемого обновления, мы последний раз обернемся, чтобы ответить на их прощание.

Глава четвертая

КОРАБЛЬ, ПОХОЖИЙ НА ДОМ

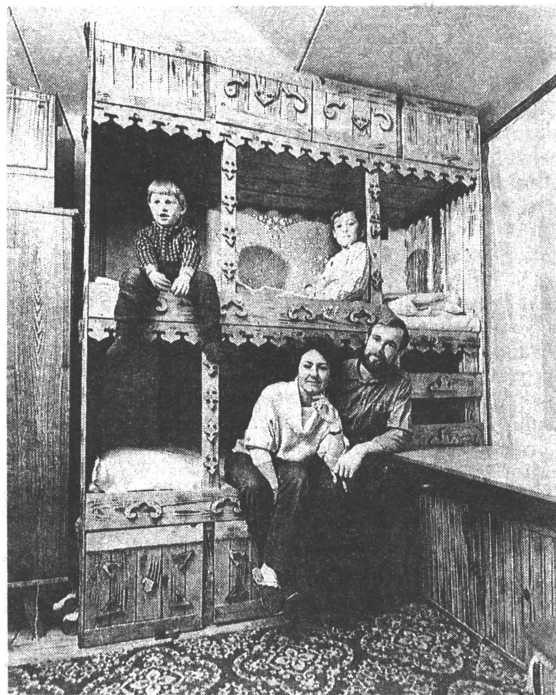
Я противник детсадовского воспитания. Сама росла на воле: одна под замком с двух лет — лишь бы не ходить строем на горшок — и детей с пеленок в казарму не отдала. Но 27-й Кленовский — статья особая. Прохаживаясь по этому уютному дому и вспоминая свою единственную военную Машу с криво пришитой рукой и плоским, прямо на тряпичном лице нарисованным носом, я в который раз убеждалась, сколь неоднородна жизнь. В 27-й сама бы пошла хоть завтра, в любую группу, и в любом образе — хоть куклой, хоть мишкой плюшевым. Уменьшилась бы до размеров Карика и Вали, уселась бы за белую скатерть против вон той Аленушки и попивала бы из расписной чашечки «как будто чаек». И носились бы со мной, как с писаной торбой, не только дети, но и все эти чудные молодые женщины: Татьяна Николаевна Романова, Тамара Николаевна Деткова, Валентина Ивановна Нефедова, Нина Тимофеевна Куракина, Светлана Николаевна Змеева, Татьяна Анатольевна Брехова, Екатерина Ивановна Изгагина, три сестры Татауровы — Ирина, Елена и Марина. Сама заведующая справлялась бы о моем здоровье. Ничего покупного я бы не носила, все индпошив, а детшки никогда не ссорились бы ни из-за ме-

ня, ни из-за других кукол, потому что крестьянские дети не приучены хапать, не поддаются на соблазн для них ничего не стоит. Они живут совсем в другом микроклимате, они не видят бегущие на поклон к кавказским «братьям» толпы, готовые за шмотку выложить свой трудовой униженный рубль. Детский садик — это тоже опора совхоза, все связано здесь кровными узами, воспитатели и родители ходили в одну школу, и крестные в деревне не сосчитают, наверное, всех своих крестников.

Почему-то коренные кленовские все синеглазые. И в глазах больше неба, чем речек — незамутненная синь и

гагину перевели в распоряжение Нижнесергинского района. «Пришла я на заведование в кленовский садик — как деточка, у повара, у нянечек (коллектив приняла предпенсионный) училась, как жить. А они мне орешки от компота оставляли». Опять слезки на колесках, как у Тани Белоглазовой, и тоже один раз выкатились — и снова безоблачная синь.

Подрастали крестьянские дети. Год — и старшую группу передавали школе, год — и опять первое сентября. Взрослела и Нина. А теперь у самой два сына, и теперь она — опытный руководитель. Садик с Тамарой Яковлев-



грусть. Нина Павловна Изгагина, заведующая, все шутит, шутит. А глаза печальные. Мы сидим в ее кабинете — самой крохотной и темной комнатке, наверняка задуманной строителями как подсобное помещение. Нина Павловна без ломания отвечает на мои вопросы, хотя и норовит все время свернуть на проторенную кленовскую дорожку: не о себе говорить, а о других. Но я, признаюсь, опытный предприниматель — богатею на глазах, и еще одна судьба занимает место в сердце согласно правилу «в тесноте да не в обиде». Я там и вижу Нину: с портфельчиком на тракте — десять километров туда, десять обратно, пыль лепится на слезы. Это надо же додуматься распределить девчонку после педучилища в Талицу, если дом в Кленовой. Ладно, Василий Сидорович волю свою отеческую приложил: добился, что Из-

ной отгрохали — 120 кв.м. пристроили за одно лето!

А Ноговицина-то: нет чтобы в первую очередь власть укрепить, да хотя бы подлатать избушку на курьих ножках, скворечник на вершине кривой скрипучей лесенки, называемой поселковым советом. Уважающий себя начальник разве станет сидеть в кабинете с убегающим полом и иконой Божьей Матери вместо вождей! А эта — дорогу давай асфальтировать, мост через реку, поезд остановила в Кленовой — не было здесь на разъезде сроду остановки... Детский садик вот... И тоже — слова не скажи о ней, разрешение получено «только о людях писать». О людях... А она кто?..

С людьми во владении Изгагиным работают по высшим педагогическим нормам, потому что ко всем наисовершеннейшим методикам, которые тести-

руют и уже в садиковых пределах начинают развивать индивидуальные способности и склонности ребенка, в 27-м кленовском приложено главное — родная земля. Не в учебнике на картинке — под ноги постлана...

Я непременно должна была втереться к Нине в доверие и добилась-таки своего: после работы она пригласила нас домой. Двери открыл Юрка, старший сын. Он был дома один, брата, пятилетнего Сашку отпустил на лыжах. Не город — детей выгуливать не надо, барахтайся в снегу, сколько хочешь, вались в сугроб на спину, считай звезды. «Папа еще не пришел?» — «Папа строится», — деловито отвечал Юра. Нина пояснила, что это одно название — строится, просто что-то мастерит Федор в сарае. В большой комнате, где все приметы стандартной городской квартиры, включая «стенку», в правом углу сразу бросается в глаза голландка — гладкобокая, глянцева в свете сверкающей люстры. Она вошла сюда, в стандартный панельный домик, потому что так решил хозяин, Федор Григорьевич Изгагин. Возле нее, живой и теплой, уютно, как в родительском доме.

В мальчишеской комнате я выпадаю в осадок: что это, каюта или терем? Какие сны видят, отплывая на этом сказочном корабле сыны Федора и Нины, когда намаевшись за день в трудах и заботах, располагаются на этажах согласно возрасту: старший, второклассник, вверху, младший внизу. Федор построил кровать за отпускной месяц. Вот не спросила, а сколько понадобится, чтобы наворотить и роскошные коридорные шкафы, отделанные под орех? Приходит хозяин — русоволосый, красивый, спокойный. Жена спрашивает: «Вы еще не стряпались?» Это про корову. Все, что связано с уходом за коровой, здесь называют «стряпать». Стряпается Федор с матерью, Анфисой Кондратьевной. «Меня избавала Федина мама, — говорит Нина. — Считает, что я устаю на работе, а она не устает! — все жилочки тянутся, все болит, кто не натруился в колхозе, в совхозе?» Хозяйство у них одно, хотя свекровь живет отдельно, в деревянном доме, где прошло детство Феде, где постоянно ошиваются Юрка с Сашкой (здесь рядом), откуда отправился в феврале в свой последний путь свекор Нины Григорий Михайлович, а через восемь месяцев его догнал в пути Валерий Кленов, Нинин брат.

Изгагины не совсем кленовские, они пришли из деревни Овиновка, где течет горная речка Емандзельга. Преступным планом уничтожения русских деревень Овиновку приговорили к вымиранию — как и Морозово, и другие «бесперспективные», лепившиеся к горным речкам, где до сих пор плещут

ся жерех, голавль, подуст, щука. Перевезли в Кленовую свои дома и Завьяловы, и Овчинниковы, кому-то Уткин построился помог, еще двухэтажный дом слепили, когда начали повально сгонять людей с насиженных мест — не очень-то подходящая для деревенской жизни конструкция, но уже не до жиру, быть бы живу.

Уже чуть ли не при расставании узнаю, что Нина ждала Федора пять лет. В 79-м ушел в кругосветку. Был и в Антарктиде, и в Америке, и в Африке, одним словом, «хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Так вот почему у пацанов корабль, похожий на дом!

Федор Григорьевич из тех мужиков, что языком трекать не очень-то. И потому особо ценю его слова, и записываю их в блокнот с предельной точностью: «Сейчас много вранья в печати: будто наши моряки чуть ни в неволе были до перестройки, рады бы, дескать, остаться на чужом берегу да боязно. Чуть! Час простоя в заграничном порту столько долларов стоит, что уйдешь — никто тебя искать не будет, оставайся. Однако никто не оставался».

В 83 году он пришвартовался к родному берегу, и они поженились. Вот не спросила, когда это было. Наверное, по крестьянскому обычаю — осенью, когда убран урожай, а на горе Кленовой осыпаются клены...

Глава пятая

ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ В ОГОРОДЫ...

Свято-Никольская церковь стоит в лесах, в самом центре села. За спиной у нее река Пут — внизу, где-то у подножья: пред изувеченным Ликом храма — все мы, грешные, непокаянные. Тамара Яковлевна говорит: «Пока не восстановим — не будет нам покоя».

На трехсотлетию, когда заканчивалась служба и голоса певчих перелились в магнитофонный колокольный звон, усиленный динамиками, не могу оторвать глаз от иконы Божьей Матери. Она вынесена из рабочего кабинета Ноговиной и стоит теперь на обвалившейся паперти и плачет о нас невидимыми слезами. Помогите нам, Божья Матерь! Научи опомниться! Шепни в наши забытые роком уши: «Вы дети святой Руси!»...

Мы снова покидаем Кленовую. Метет, метет на дорогу, автобус продвигается медленно, осторожно, качается за окном снежный лес. Нас посадили к артистам (автобус заказной) — очередным аля-рюс, прибывшим из Екатеринбург потешить кленовчан в их профессиональный праздник. Потешки в кре-

дит — у совхоза нет денег расплатиться с плясунами, коллектив не маленький — тридцать пять человек. На дороге их вкусно покормили в совхозной столовой мясными пельменями, компотом. Обед, разумеется, за счет совхоза. Мы сидим с Подкидышевым в самом конце длинного салона, на голову мне то и дело наезжают черные кожаные (или клеенчатые?) чехлы, в которых черные чертовски полосатые русские костюмы. Чехлы садятся на голову так настырно, что сопротивление бесполезно, и выход один — терпеть.

Я и терплю, и думаю о Кленове, Нинином брате. Он ведь не Кленов был, а Малафеев урожденный. Кленовым переписался с тоски по Кленовой. Ему выпала тяжкая земная доля: кленовым листом, сорвавшимся с родимого дерева, кружить и кружить и нигде не находить причала. Еще мальчиком мечтал о небе: летать бы среди звезд и глядеть, как падают они и гаснут в темных озерах. Но в летнюю школу не приняли, закончил авиатехническое училище, младшим лейтенантом ушел в армию. После армии поступил в университет на философский факультет, но схлопотнул с нынешним (а когда материал дописывала, слава Богу, уже бывшим) госсекретарем Геннадием Бурбулисом, который благополучно пребывал в роли комсорга. Конфликт был настолько серьезен, а комсорг-госсекретарь столь мстителен, что Валерию пришлось уйти из университета. Закончил горный институт. Валерий жил в городе как неприкаянный. Вроде бы и семья, и работа есть — был главным инженером треста механизации, начальником цеха на «Турбинке», старшим научным сотрудником в институте горного дела (на похороны из города приходил целый автобус с людьми, которые любили его). Но механизмы были не его делом, последнее время он все чаще повторял: «Так я устал, надо в деревню уезжать». Уже после смерти брата Нина найдет эти строчки, обращенные к Кленовой: «Млечный путь над твоею дорогой, август дарит таинственный свет, звезды падают в огороды...» Жизнь оборвалась, как строчка: бежала, бежала и — стоп. Хоронили Валерию всей кленовской семьей, Тамара Яковлевна сказала, что в классе они звали его Волькой...

Душа Кленова исполнила свою детскую мечту — поднялась к небу (только-только прошло сорок дней), притулилась над деревенским кладбищем. Будем ждать теперь, когда из маленькой точки над речкой Пут рванется навстречу ей колокольный звон. Не магнитофонный — малиновый. ■

Фотографии
Юрия ПОДКИДЫШЕВА

Николай МЕЗЕНИН

ПАВЕЛ, СЫН ПАВЛА



КНЯЗЬ САМПОНТРЕ. Павел Павлович Демидов родился в 1839 году — за год до смерти отца. Он не мог помнить и знать родителя. Как и отец, жил недолго, но за 42 года успел накуролесить немало. Постоянно увлекался разными деловыми манипуляциями: сахароварением, американскими элеваторами, мурманскими рыбными промыслами, изданием собственной газеты «Россия»... Ввязывался то в торговлю мясом диких животных, то бульонными концентратами. Хватался за все, что по его расчету могло принести скорый доход. А своими уральскими заводами почти не занимался. Все надежды возлагал на управителей и своего главного уполномоченного — профессора права Добровольского.

Газеты писали, что уральский заводчик не удовлетворяется повседневной жизненной суетой, ищет правды у людей духовного направления и находит опору в друзьях церкви и евангельской мудрости. Павел Павлович отличался участием в «Священной дружине» («Добровольная охрана») — конспирированной организации придворной аристократии в России 1881-1882 годов, которая в борьбе с революционным движением соперничала с государственной полицией, имела обширную русскую и зарубежную агентуру. Павел Павлович щедро субсидировал из своих миллионных доходов все контрреволюционные начинания дружины. М.Е. Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» вывел его под сатирической фамилией «Князь Сампонтре». Фамилия образована от шуточного украинского названия дешевых сортов табака: «сам пан трет», т.е. сам барин трет.

МОЙКА, 12. Павел Демидов учился в Петербургском университете, слушал лекции Д.И. Менделеева по химии, получил степень кандидата по юридическому факультету. Затем служил по разным ведомствам: при государственной канцелярии, при министерствах иностранных и внутренних дел, так что поочередно был то помощником старшего экспедитора, то камер-юнкером двора его величества, то состоял при посольстве в Вене, то — советником подольского губернского правления. Наконец, был киевским городским головой и егермейстером царского двора. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов состоял чрезвычайным уполномоченным петербургского «Красного креста». Унаследовал от бездетного дяди Анатолия Николаевича титул князя Сан-Донато, пожалованный королем итальянским и утвержденный государем.

В Петербурге П.П. Демидов жил по знаменитому ныне адресу: Мойка, 12 — теперь здесь всемирно известный музей-квартира А.С. Пушкина. Этот старинный дом после гибели поэта населяли люди высшего аристократического круга. При реставрации последнего пристанища Пушкина существенную помощь оказали и документы, относящиеся к ремонту и перedelке дома, той поры, когда здесь

жил потомок рода уральских промышленников.

Когда началось проникновение на Урал отечественного и зарубежного капитала, тагильские заводы Демидовых держались дольше всех, уклоняясь от акционирования. Даже свои капиталы внедряли на другие заводы. В 1873 году, когда разорилось хозяйство Н.В. Всеволожского в Никитинском округе, группа уральских заводчиков выступила арендаторами. Среди них ведущее положение занимал П.П. Демидов.

Вынашивались планы получения концессии на строительство уральской горнозаводской железной дороги. Демидов организовал товарищество. Но надежды на получение концессии таяли, участники товарищества покидали его. В итоге Демидов скупил пай и сделался единоличным владельцем дела. Он провел успешную финансовую операцию с целью присвоить перспективное хозяйство Никитинского округа с богатым Луневским месторождением каменного коксующегося угля. Никитинское хозяйство было присоединено к Нижнетагильскому округу.

Обладая огромным богатством, Павел Павлович щедро жертвовал. Только за последние десять лет жизни он выделил на пенсии и другие пособия россиянам 1 167 840 руб. Сюда вошли ежегодные приношения Киевскому и Петербургскому университетам, детской больнице и др.

В Нижнем Тагиле за счет П.П. Демидова содержалось сто учащихся реального училища. Он финансировал два мужских народных начальных училища для 300 детей и два женских, где обучались 200 девочек, а также два приюта для сирот, две больницы с аптеками при них, фельдшерскую школу, библиотеки при училищах и больницах. Общий годовой расход в Нижнем Тагиле составлял более 125 тыс. руб.

За филантропическую деятельность в Италии Павел Павлович был награжден орденами Святых Маврикия и Лазаря и «Итальянской короной», получил золотую медаль от жителей Флоренции, которые избрали его почетным гражданином своего города. Здесь он тоже открыл школы, приюты, дешевые столовые для рабочих.

ТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД. Павел Павлович был здесь дважды. Первый раз подростком с матерью Авророй Карловной. Второй и последний раз — вскоре после «воли», в 1863-м, когда приехал на Урал уже полноправным владельцем всех заводов. Визит продолжался около трех недель. Все время он проводил на охоте или в разных забавах.

Этот приезд Демидова стал сюжетом романа Д.Н. Маммина-Сибиряка «Горное гнездо». Современники легко узнавали в образе Евгения Лаптева наследника крупных уральских заводчиков.

В 1880 году Тагильский завод посетил известный русский металлург Д.К. Чернов. Заведующий горной частью заводов Мейер оказал знаменитому металлургу

Продолжение. Начало:
1991 №№ 7, 8, 10, 12; 1992 №№ 2, 7;
1993 №№ 2, 4.



любезный прием. Показал гостю рудники и заводы, подарил обширную коллекцию железных и медных руд. Это однако не помешало ученому разглядеть хищническую эксплуатацию природы, ее богатства. Гору Высокую он сравнил с куском сыра, из которого вырезали кто и как хотел.

В Русском техническом обществе Чернов выступил с докладом о поездке. Выказывался весьма энергично: «Я не могу молчать сегодня, если вижу хищническую разработку рудников, заимствованную у наших предков, обжигание руды в кучах или на клетках; если я вижу громадную, мокнущую под дождем кучу угля, перемешанную пополам с головешками. Я не смею молчать, когда вижу толстую безобразную каменную пирамиду с громадным пламенем у жерла, в которую, выбиваясь из сил, дуют снизу шесть или восемь деревянных мехов еле влачимых дырявым колесом». Говоря о причинах упадка металлургии, Чернов называет и такую: «Иногда попадаются целые заводские округа, в которых нет ни одной личности, получившей научное техническое образование».

Демидовский завод считался одним из лучших частных заводов. Но даже и здесь молодых горных инженеров встречали неприветливо. Такой прием нашел молодой инженер В.Е.Грум-Гржимайло, окончивший Петербургский горный институт и прибывший служить на Тагильские заводы.

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ. Ко времени отмены крепостного права Демидовы стали крупными землевладельцами и помещиками. Только на Нижнетагильских заводах им принадлежали 630 десятин земли, леса, покосов. Особенности проведения реформы в значительной мере определили дальнейшее развитие экономики Нижнетагильского округа.

Одновременно с манифестом 19 февраля 1861 года были утверждены «Дополнительные правила», отменяющие крепостное право на частных заводах. Разнородное горнозаводское население делилось на две группы: мастеровых, испол-

няющих основные производственные работы, и сельских работников, используемых на вспомогательных работах и занимающихся также сельским хозяйством. Срок переходного состояния для всех заводов был установлен двухгодичный. На частных заводах это был срок замены крепостного труда вольнонаемным и введения уставных грамот, которые определили размер надела и повинности за использование им временнообязанных крестьян.

«Шедвром канцелярской казуистики» называл Мамин-Сибиряк уставные грамоты Нижнетагильских заводов. Хозяева незаконно включили в разряд «мастеровых» всех жителей заводских поселков и деревень, лишив их тем самым права на получение пахотных земель. Чтобы прочнее привязать рабочих к заводам, им выделяли дополнительные сенокосные угодья, отпускали лес.

В среднем размеры земельного надела на душу населения составили всего 1,8 десятины. Но и они не были полной собственностью жителей заводских поселков и деревень. Без согласия заводладельца и управителя население не имело права добывать на своих землях полезные ископаемые, вырубать леса, расчищать земли под пашни. Эти ограничения фактически лишали «освобожденных» людей возможности заниматься сельским хозяйством, затрудняли развитие местных ремесел и промыслов. И после реформы работа на заводах осталась основным источником существования заводского населения. П.П.Демидов сохранил за собой всю землю и обеспечивал заводы дешевой рабочей силой.

НАСЛЕДСТВО ПОД ОПЕКОЙ. В июне 1885 года тело почившего в Италии Павла Павловича Демидова привезли в Тагил и поместили в усыпальницу рода — Выйско-Никольскую церковь.

В.Е.Грум-Гржимайло, приехавший на службу в Тагил в эти дни, позже писал: «Павел Павлович умер вовремя. Проиграв 600 тыс. руб. в Монте-Карло, он поставил заводы на край гибели. Была продана платина за 10 лет вперед. Были

исчерпаны все ресурсы и весь кредит. Василий Дмитриевич Белов (Петербургский управляющий — ред.) говорил мне, что он носился по всему Петербургу, ища денег, и ждал с минуты на минуту объявления о несостоятельности».

Главная тяжесть оплаты долгов пала на плечи рабочих. Их урезали во всем. Предполагалось закрыть школы, горнозаводское училище, Анатольское женское училище и др. Управляющий тагильскими заводами В.А.Грамматчиков уговорил половину расходов принять на счет заводов, а другую заставил платить рабочих и служащих в размере полутора процентов жалованья.

Кроме родового нижнетагильского имения, наследникам П.П.Демидова достались лично приобретенные им Иллинецкий сахарный завод в Киевской губернии, Готобужское имение около Петербурга, имение «Заводовичина» под Москвой, Луньевский горнозаводской округ, имение Пратолино близ Флоренции в Италии, магазины и лавки в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Знаменитую виллу Сан-Донато продали всего за 30 000 руб. Управляющий так объяснил Грум-Гржимайло причину такой дешевизны: «Князь Сан-Донато содержал за свой счет массу благотворительных учреждений в Италии, имел массу пенсионеров. Чтобы избавиться от всех этих хлебников, надо было продать Сан-Донато. Купил его небогатый человек Глебов-Стрешнев просто как дачу на лето».

Александр II назначил над демидовскими заводами опеку во главе с П.П.Дурново. Другими опекунами были граф П.П.Голенищев-Кутузов и А.О.Жонес, побочный сын, как говорили, Анатолия Николаевича Демидова. Он воспитывался во Франции, окончил Горную школу в Париже. Служил сперва по особым поручениям, а потом главным уполномоченным по делам демидовских заводов.

В духовном завещании Павел Павлович не пожелал делить основное имение. Наследники должны были ежегодно выплачивать ренту с доходов в сумме 84 тыс. руб. его матери Авроре Карловне, проживавшей в Финляндии, и французской принцессе Матильде де Монфор. На воспитание пяти наследников было ассигновано 150 тыс. руб.

Память о П.П.Демидова почтил ряд русских газет. Свообразным некрологом-фельетоном откликнулся и Д.Н.Мамин-Сибиряк. Он опровергал утверждения о том, что П.П.Демидов был гуманным и добродетельным заводчиком. ■

На снимках: П.П.Демидов; Выйско-Никольская церковь, в которой была усыпальница Демидовых.

Фоторепродукции
Ивана КОВЕРДЫ

Владислав КРАПИВИН

БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»

РАРИТЕТ

Саня Денисов не очень испугался, когда четверо прижали его к забору. Правда, ощутилось в коленках мелкое дрожание, но не от боязни, а так, «нервное», как говорит мама, когда у нее дрожит в пальцах кисточка. Приходилось попадать в такие переплеты и раньше: и у себя в Старосадском, и в других местах. Порой крепко доставалось, но случалось и отмахаться, уйти «не посрамивши флага» (как бриг «Меркурий»).

Можно было это и сейчас. Вон того, небольшого, кинуть через бедро налево, толстому стукнуть головой в поддых — и давай Бог ноги! Но потом уже — ясное дело — по этой улице не пройдешь в одиночку. Конечно, если сказать про такое на Калужской, Корнеич тут же наладит «комиссию для разбора». И комиссия разберется, будьте уверены. Только надолго ли? Эти ведь, очухавшись, захотят реванша. И пойдет — око за око. Как в Южной Осетии...

Вот такие мысли и прыгали в Саниной голове, когда судьба послала ему спасителя. Именно судьба! Счастливая! Почти что чудо! Потому что ведь не просто хороший человек появился в решительный миг, а Даня Рафалов! Тот самый! О котором Саня так много вспоминал после прошлогоднего плавания...

Правда, вот огорчение: Даня Рафалов не помнил его!

Но, с другой стороны, если заступился за незнакомого, значит, и правда человек замечательный! И к тому же почти сразу Даня вспомнил. Заулыбался.

— Салазкин!

— Да! — радостно сказал Саня. Но тут же счел нужным объяснить: — Это в том году мама придумала... временное такое прозвище. Теперь уже забылось... Но ты зови Салазкиным, если хочешь! Раз тебе так запомнилось...

Даня Рафалов сказал с веселой сердитостью на себя:

— У меня дурацкая такая память. Бывает, что вижу — человек знакомый, а где встречались, вспомнить не могу. И вот с тобой тоже... Да ты и вырос с той поры...

— Да, изрядно, — охотно согласился Саня. — Там, на «Кугузове», я был тебе до плеча, а сейчас до уха. А ты ведь тоже рос все это время, правильно?

— Наверно... — вздохнул Даня Рафалов. Словно вспомнил что-то не очень веселое. Но тут же оживился:

— Слушай! А куда вы тогда подевались с теплогохода?

— Ой, это такая история... — Саня засмеялся от удовольствия, что сейчас эту историю можно рассказать Дане Рафалову. Так же весело и с «детальями», как любил ее рассказывать папа, когда приходили гости. И Дане, наверно, будет интересно. Вот он и шаги замедлил...

— Это такая история!.. У меня родители не могут равнодушно пройти мимо магазинов. Мама — мимо промтоварных (несмотря на то, что в них сейчас шаром покати), а папа — мимо книжных... В Ленинграде мы, конечно, отстали от группы...

— Как и мы, — вставил Даня Рафалов.

— Да? Ну вот видишь, похоже... И началось «посещение торговых точек». То «маминых», то

Конец первой части. Начало в № 4.

«папиных». У мамы — полная сумка кисточек и красок для своей работы, у папы — книжки под мышками, только я один — без всякого интереса от такой жизни. Наконец я сажусь на асфальт (ну, не совсем на асфальт, а на ступеньку какого-то крыльца) и говорю: «Все! Или мы немедленно идем в морской музей, или я на три дня объявляю голодовку». Три дня я выдерживаю. А мама — когда смотрит на меня голодного — только день. Так что этот прием безотказный... Ну вот и пошли. Знаешь, морской музей — это бывшая биржа. На стрелке Васильевского острова.

— Мы с дедом были.

— Ну, тогда ты, наверно, помнишь: там в большом зале, слева от входа витрина с вещами Петра Первого...

— Нет, я не помню. Я как вошел — сразу к моделям! Ну, к тем громадным, что посреди зала.

— А-а... Мы не так. Папа любит, чтобы все по порядку, он же историк... Ну и вот, он вдруг замер у этой витрины. Где царский камзол, ботфорты и всякое другое, что Петру принадлежало... Но он не из-за этих вещей, а из-за книг... Вообще-то папа специалист по древней истории и по средневековью, но редкие книги собирает про все эпохи, это у него страсть... И вот он тут дышать перестал. Мама говорит: «У тебя что, столбняк?» А он шепотом, прямо как в приключенческом фильме: «*Это она...*»

«Что она?»

«Он...»

«Что он?»

«Морской устав Петра Великого...»

Мама уже нервничать стала.

«Ты что, — говорит, — хочешь разбить витрину и похитить книгу?»

А папа:

«Нет. Но я только что видел *такую же...* Только я не знал, что это Устав. Я никогда не думал, что он выглядит так. Мне представлялось, что первое издание — это внушительный том...»

«Господи, — говорит мама, — где ты его видел? Это бред...». — Саня засмеялся на ходу, поглядывая на Даню. У того лицо было внимательное. — А папа опять шепотом: «В букинистическом магазине. В бывшей лавке книгопродавца Смирдина...» Знаешь, Даня, это в начале Невского проспекта, рядом со старым кафе. С тем самым, откуда Пушкин уехал на дуэль...

— Знаю, мы заходили туда. Не в кафе, а в лавку. В ней при Пушкине его новые книжки продавались, дед рассказывал...

— Правильно!.. Вот папа и говорит: «Бежим!» И помчался, не слушая маму... По набережной,

по мосту, мимо Адмиралтейства. Плащ трепыхается, очки один раз уронил, мы еле поспеваем... Мама говорила потом, что мы были похожи на семейство, которое забыло выключить дома уют и вспомнило об этом на полпути... Ворвались в магазин, папа сразу к шкафу:

«Девушка, вот эту книжку, пожалуйста, покажите!»

А девушка:

«Да это ничего интересного. Старый морской устав...»

«Вот-вот! Именно...» — И скорей за книжку схватился. А мама, конечно:

«Сколько стоит?» — Потом бледная сделалась и села. Хорошо, стул рядом... Но разве папу остановишь, когда у него в руках такая редкость!.. Короче говоря, после этой покупки осталось у нас три рубля с копейками. Только-только, чтобы бабушке позвонить: «Спасите наши души, сидим на мели, шлите деньги телеграфом до востребования...» Но, чтобы денег дожидаться, надо остаться в Ленинграде! Вот, мы вещи забрали с теплохода, напросились в квартиранты на три дня к одному папиному знакомому. Решили: получим деньги, догоним теплоход в Петрозаводске...

— И не догнали, — вздохнул Даня Рафалов.

— Потому что перевод задержался. Хотя и телеграф, а такая волокита... Но мы все-таки еще попутешествовали потом. На поезде и на местных теплоходах. Побывали и на Валааме, и в Петрозаводске, и на острове Кижы. А оттуда домой, о Волге пришлось забыть...

— Ох, и досталось, наверно, бедному папе от мамы, — сказал Даня Рафалов.

— Ты знаешь, нет! Не очень... Во-первых, это бесполезно. Папа все дни ходил в обнимку с этой книжкой и... ну, весь в себя ушел, будто в другое пространство. Так что ругать его не имело смысла. Да и за что? Волга никуда не денется, а тут такая удача — это же раз в жизни... Папа говорит: «Я и не предполагал, что такой раритет может быть в свободной продаже. Говорят, в семьсот двадцатом году этот Устав был напечатан всего в количестве пятисот экземпляров. А сколько их погибло во время морских сражений, войны, блокады, сколько потерялось! Остались наверняка единицы. Это же первоиздание!» Согласись, Даня, что удивительная история!

— Прямо роман, — отозвался Даня. — Ты, Салазкин, будто писатель: все прочитал, как по собственной книге.

— Потому что папа столько раз эту историю всем знакомым рассказывал. Я наизусть запомнил. Только теперь переделал, чтобы от своего лица, а не от папиного...

Даня Рафалов сказал:

— А мы с дедом в Ленинграде тоже одну старую книгу купили. В магазине на Литейном проспекте. Толстенный такой том Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Дед в него тоже вцепился, говорит: «У меня такая в детстве была, бабушкин подарок». Она в девятьсот одиннадцатом году напечатана. Куча картинок и крупные буквы... Я потом каждый вечер читал в каюте до ночи...

— Ты тоже любишь читать в постели?!

— Естественно... Дед ворчал сперва: глаза, мол, портишь. Я говорю: «А сам-то разве не читаешь по ночам?» Он рукой махнул...

«Все про деда и про деда, — с легкой тревогой подумал Саня. — Они что, вдвоем живут? Не спросить бы лишнего...» Страшновато ведь: вдруг нетактичным вопросом разрушишь вновь начавшееся знакомство.

— Ну вот, пришли уже... — осторожно сказал Саня. — Но теперь-то уж мы точно еще увидимся, да?

— Конечно!

— У вас сколько сегодня уроков?

— Пять.

— А у нас четыре. Ну, ничего...

Первым был английский. Кабинет оказался еще закрыт, у дверей гомонили одноклассники. Кинтель увидел Алку Баранову.

— Мисс Рэм, дай скатать перевод, я дома совсем забыл, что надо делать письменный...

— Лодырь, — сказала Алка. Они с Кинтелем еще с детсадовских времен были врагами-приятелями. Вечно спорили, и Алка всегда его подъядала и критиковала. Но выручать не отказывалась. Она сунула Кинтелю тетрадку, он устроился у подоконника. Тут же примостился сбоку Ленька Брянцев, обычно именуемый коротко — Бряк. Один из «достоевской» компании. Тоже начал писать и посапывать. Потом спросил:

— Чё, в натуре, что ли, закорешил с каким-то дворянчиком? Пацаны говорят...

Кинтель не стал его обзывать, разъярился сдержанно:

— Никакой не дворянчик, нормальный парень. Мы с ним в прошлом году на теплоходе вместе плавали... Что теперь было делать: пройти и не заступиться?

— А чё в «гнезде» живет? Там одни сыночки начальников.

— Бредятину какую-то несешь. У него отец учитель истории. Где квартиру получили, там и живут. Отказываться было, что ли? — И не выдержал: — Что у вас за привычка всегда врагов выдумывать! Лишь бы охотиться за кем-то. Как стая...

— У кого это «у вас»? — оскорбился Бряк. — А ты не такой, что ли?

— Я на людей не кидаюсь... И так по всей Земле грызня идет, а тут еще на своей улице гражданскую войну разводить...

— Ну да, ты у нас юный пионер. И тот такой же. Вот и сошлись два сознательных...

— Ну и нёфига у сознательного задание списывать, отвали на подстанции. Алка не тебе тетрадку дала, а мне...

— Потому что она всю жизнь в тебя влюбленная...

— Вот именно! А ты ищи свою влюбленную... Иди-иди...

— Ну чё-о-о! Мне англичанка вторую пару вкатит!

— Тогда не возникай... И не вздумай к Саньке Денисову, к парнишке этому прискробаться. И другим скажи... Что за люди!

«В самом деле, что за люди», — думал Кинтель о своих приятелях с улицы Достоевского.

Вроде бы, когда разговариваешь с ними или игру затеваешь, или дело какое-то, нормальные ребята. Не дураки. Джула вон одной фантастики тыщу книг прочитал... Не жадные, заступаются друг за друга. Или когда вечером разведут костерок на пустыре, Вовка Ласкутин принесет гитару — так хорошо всем вместе делается, готовы друг за друга хоть куда... И такую дружную бригаду прошлым летом склепали! Джула добыл где-то длинный садовый шланг, разыскал среди развалин действующий водопроводный кран, провели кишку к обочине на Первомайской, там часто ходят машины. Поставили плакат: «Артель «Веселые брызги», мойка автомобилей. 1 машина — 10 руб». Желающих полно оказалось, даже в очередь вставали. А лихая артель как навалится на машину! Кто со шлангом, кто с ведром и мочалкой! Через пять минут автомобиль — словно сию минуту с завода!.. И деньги делили без всякой ругачки, поровну, только Джула за свой шланг брал из общей выручки лишний рубль... Кинтель тогда за неделю заработал сорок пять «деревянных». Жаль, что артель не протянула долго: кто-то украл у Джулы шланг...

Впрочем, спор с Ленькой не испортил Кинтелю настроения. Он спокойно радовался хорошей погоде, когда вышел из дома, та же бесхитростная радость усилилась от встречи с Салазкинским. И теперь не исчезла. На коротких шумных переменках Кинтель Салазкина не встречал, но радость не проходила. Лишь на пятом уроке ее подпортила литераторша Диана Осиповна.

Кинтелю казалось, что Диана — она самая. Та учительница, из-за которой он в шестилетнем возрасте едва не схлопотал отцовских «блинов».

Память на лица, как известно, была у Кинтеля скверная, но на девяносто процентов он был уверен. Диана появилась в этой школе в прошлом году. Скорее всего, она, как и Кинтель, переехала с Сортировки. Порой Кинтелю казалось, что Диана его тоже помнит, хотя и не уверена. По крайней мере, она часто поглядывала на Рафалова как-то по-особому и придиралась больше, чем к остальным. В прошлом году она преподавала у шестиклассников русский и литературу, а в этом — вот сюрпризик! — стала в седьмом «А» еще и классной руководителем. Впрочем, Кинтель не очень расстраивался. Русский язык для него не был трудной наукой, литература — тем более. Поведения он был спокойного и к мелким Дианиным пакостям относился философски.

Нынче, однако, Кинтеля взяла досада. Это, когда в конце урока Диана заявила:

— Летом вы все обязаны были прочитать «Тараса Бульбу». Кто поленился, читайте безотлагательно. Скоро мы начнем изучать это лучшее произведение Николая Васильевича...

«Обязаны были прочитать!» Кинтеля толкнула неожиданная злость. В последнее время он стал замечать в себе такие вот вроде бы беспричинные вспышки раздражения. И не всегда сдерживал их: надо клапаны-то открывать, чтобы «выпустить пар». Сейчас, правда, сдержался. Но не совсем. Сказал вполголоса.

— Ох уж, «лучшее»...

«Вечера на хуторе...» — это да! Кинтель очень любил их, читал не раз еще и до прошлогодней поездки. А «Тараса Бульбу» впервые прочел на «Кутузове», и повесть эта его... ну, как ржавой теркой по душе. Был это какой-то совсем другой Гоголь, хотя вроде бы там тоже Украина, казачки...

— Чем недоволен Рафалов? — поинтересовалась Диана Осиповна.

— Всем доволен. Только «Вечера»... лучше.

— Ты уж поднимись, будь любезен, когда беседуешь с преподавателем... Оценка произведений — дело, как говорится, вкуса. Но есть школьная программа. И кроме того, «Тарас Бульба» — это самая героическая книга Гоголя. Сгусток патриотизма...

Ох, не надо было связываться! Но, глядя в окно, Кинтель тихо спросил:

— Это, что ли, когда в Днепр евреев кидают? Или польских грудных младенцев на копья?

Класс притих. Особенно Бориска Левин, скромненький такой очкастый шахматист, с которым Кинтель сидел на одной парте.

— Ты... — выдохнула Диана. — Ты, Рафалов... поступаешь, извини меня, просто подло. Ты вы-

дергиваешь отдельные эпизоды... которые обусловлены определенной эпохой... не давая себе труда выявить общую тенденцию...

— Эпоха получается похожая, — все так же негромко выговорил Кинтель. — Как послушаешь радио...

— В том, что говорится по радио, Николай Васильевич не виноват! А ты... ты просто оскорбляешь! Нет, не меня! Мне обидно за великого писателя!

— Мне тоже... — вздохнул Кинтель.

— Все! Можете быть свободны!

В коридоре Алка Баранова сказала:

— Скребешь на свою голову, Данечка. Диана Осиповна — человек памятный.

— У нас плюрализм, — буркнул Кинтель.

— Вот-вот. Она тебе и покажет «плю»...

— Скажет «подбери соплю», — вставил оказавшийся рядом Ленька Бряк.

— Сам подбери.

На крыльце настроение опять улучшилось.

Школа выходила фасадом в сквер со старыми кривыми кленами. Было много ярко-желтых листьев, но летнее тихое тепло еще по-прежнему наливалось окружающий мир. На кленах, будто елочные игрушки, болталась там и тут малышня с пестрыми ранцами — отпущенные с продленки первоклассники и второклассники. На вытоптанной площадке был вкопан турник. На турнике, уцепившись ногами, висел вниз головой Салазкин. В таком положении он ловил красный мяч, который с хохотом пинали в его сторону два пруденчных пацана.

Салазкин увидел Кинтеля. Пропустил мяч, упал с турника на руки, вскочил. Нерешительно заулыбался. Кинтель сразу понял: Салазкин ждал его. Целый час! Хотя и делал вид, что он здесь просто так, забавляется с малышами.

— Привет, — небрежно сказал Кинтель. — Домой пойдешь?

— Да, разумеется! — Салазкин подхватил с земли сумку.

И они пошли. Салазкин смущенно поддавал ногой сухие листья. При этом слегка косолапил.

— Чего хромаешь?

— Ерунда! На физкультуре ступню подвернул... А ты...

— Что?

— Какой-то немножко хмурый.

Кинтель был не хмурый, он улыбался внутри. А что насупленное лицо, так это не стерлась еще память о стычке с Дианой.

— С классной поругался. На почве расхождения литературных взглядов... — Он дурашливо вздохнул. — Не надо было, да прорвалось. Наверно, зловещий переходный возраст наступил.

Салазкин весело оживился.

— Ой, у меня мама этого возраста как чумы боится! Если что не так, сразу: «Ну вот, он уже наступает!» Я говорю: «В десять лет еще рано». А она: «Но все равно это случится! И мне заранее жутко...»

«Наверно, единственное дитя у мамы», — со скрытой усмешкой подумал Кинтель. И Салазкин, кажется, угадал эту мысль.

— У меня две сестры: Зоя и Соня, близнецы. Они уже студентки, в Москве. Мама говорит, что с ними не было никаких забот и тревог. А со мной...

— Господи, а с тобой-то что? — вырвалось у Кинтеля.

— Ну-у... — Салазкин смешно помотал головой (коричневые волосы разлетелись). — Я не укладываюсь в параметры... Сейчас ведь как? Чтобы семья считалась «на уровне», нужен минимальный набор: импортная стенка в гостиной — раз, цветной телевизор — два, машина «жигули» — три, породистый пес — четыре и ребенок, который занимается музыкой или английским, или фигурным катанием, или еще чем-нибудь *таким*...

— Значит, все в тебя уперлось?

— Представь себе! Стенку добыли, в давние времена еще. Телевизор имеется. Пес — он хоть и без родословной, но вполне приличный терьер. Машины нет, но тут уважительная причина — мама страшно боится, что папа, если будет водить автомобиль, врежется в первый же столб. А больше никому... А со мной — просто беда. Никаких ярких данных.

— Ну уж... — вежливо сказал Кинтель.

— Даю слово!.. В английскую школу не взяли, потому что картавил в детстве. К спорту — ни малейшего призвания. К музыке — тоже...

— Ты ведь здорово пел тогда на «Кутузове»...

— Ох уж «здорово»! Просто вспомнилась эта песня... Кстати, музыкальный слух — это еще не талант. Голоса-то никакого. А если бы и был, у мальчиков он в четырнадцать лет все равно пропадает...

«А откуда эта песня?» — хотел спросить Кинтель. И не решился почему-то. Слово почуял границу, за которую при непрочном знакомстве заходить не стоит, хотя Салазкин и был вроде бы бесхитростно откровенен. Кинтель сказал о другом:

— А бывает наоборот: в детстве никакого голоса, а потом вдруг бас, как у Шаляпина...

— Кстати, папа обожает Шаляпина! У него старинные пластинки есть. И книга — Шаляпинские мемуары...

Так вот, болтая, прошли они по улице Мичу-

рина, по Камышловскому переулку, вышли на улицу Достоевского. Кинтель не подал вида, что заметил, как в Камышловском переулке напрягся и стрельнул глазами Салазкин, ожидая встретить недавних врагов. Никого не встретили. Миновали дом Кинтеля, но Кинтель промолчал об этом. Уже когда желтые утесы «Гнезда» надвинулись вплотную, Салазкин спохватился:

— Ой, а ты где живешь?

— Прошли уже.

— Ой... а почему ты... Меня, что ли, провожаешь, да?

— Ну... шагаем и шагаем. Заговорились.

— А то я подумал: может быть, ты решил, что я боюсь один идти... — Салазкин бросил зеленый взгляд.

— Ничего я не решил... Да и не тронет никто тебя теперь, я ведь предупредил. Они нормальные ребята, только иногда находят на них такое... «Классовая вражда» какая-то...

— Я понимаю, — покладисто сказал Салазкин.

— А еще мне охота было посмотреть, где живешь, — выкрутился Кинтель.

Салазкин обрадовался:

— Да? В таком случае идем до конца! Ко мне домой!

— Да ну, зачем это... — Кинтель вспомнил Денисовых — маму и папу.

— Пойдем, пойдем!.. Я понимаю, ты стесняешься. Напрасно, потому что дома никого нет. Кроме Ричарда... Мама приходит позже, папа со студентами на картошке...

Они вошли в крайний подъезд шестнадцатэтажной громады. Поехали в лифте. Кинтель — с удовольствием: не часто случалось такое. Специально кататься на дешеских лифтах он с «достоевскими» ребятами не ходил. Чудилось в этом что-то унижительное: быть чужим, ждать, что закричат и прогонят...

Салазкин уже в кабине деловито вытянул из-под галстука ключ на шнурке. В коридоре на девятом этаже, когда Салазкин подступил к двери, бухающим эхом отдался собачий голос.

— Ричард!.. Тихо ты, чудовище, здесь свои.

Дверь открылась, сунулся из нее большущий, с жесткой бараньей шерстью пес. Но Салазкин запихал его обратно.

— Даня, входи... Ричард, это Даня, свой! Ты должен его уважать.

Пес помахал хвостом-обрубком в знак того, что согласен уважать Даню. Доброжелательно обнюхал его брюки. И Кинтель бесстрашно потрепал Ричарда по загривку.

Салазкин сказал:

— Дома он со всеми добродушный. А вот на

улице постороннего не подпустит. Если бы я сегодня шел не один, а с ним, никто бы не пристал...

— Теперь и так никто не пристанет, — снова успокоил Кинтель. И стал расшнуровывать кеды.

— Да не надо! У нас дома нет такого японского обычая, чтобы обувь снимали... Пошли!

Квартира была трехкомнатная. С хорошей мебелью, но без лоска, который ожидал увидеть Кинтель. С заметным беспорядком, какой бывает, если в доме все заняты и нет времени для постоянной приборки. На стенах — желтоватые гравюры со всякими античными персонажами, в рамках и под стеклом. И всюду книги, книги, книги... Кинтель ревниво подумал, что у них с дедом и десятой части не наберется, хотя Виктор Анатольевич был тоже библиофил... А еще тут и там пестрели на полках глиняные расписные игрушки: красавицы в пышных юбках, лихие гармонисты, индюки с радужными хвостами, разноцветные кони с выгнутыми шеями. Салазкин заметил, что Кинтель смотрит на них.

— Это мамыны. Она специалист по народным промыслам. Раньше работала в Управлении культуры, а теперь ушла в малое предприятие, расписывает дымковских кукол. Их знаешь, как ценят! Иностранцы приезжают — и весь товар нарасхват! Потому что это ведь искусство...

— Сань, а книжку можно посмотреть? — вспомнил Кинтель. — Ну, ту самую...

— Конечно! Она у папы в кабинете, там у него все раритеты.

В кабинет Денисова-старшего Кинтель ступил с робостью. Знал уже, что отец Салазкина не просто преподаватель, а профессор Преображенского университета, доктор наук, автор нескольких исторических книг и ездил недавно в научную командировку в Голландию. («Вот эти часы привез, с корабликом...» — Белые фаянсовые часы с голубым парусником и ветряной мельницей на берегу тикали бодро, как у себя в Голландии, привыкли).

Салазкин с некоторой торжественностью открыл дверь тяжелого шкафа. Медленно взял с полки книгу. И на ладонях поднес ее Кинтелю.

Книга была маленькая, но очень толстая. В плотных корках, обтянутых чем-то вроде пергамента, с пересохшими от старости ремешками и медными пряжками. Салазкин глянул ревниво: «Ты понимаешь, какая это удивительная вещь?»

— Можно я подержу? — шепотом попросил Кинтель.

— Возьми...

Кинтель принял в ладони увесистый томик. Покачал. Салазкин сказал:

— Даже не похожа на устав, не правда ли? Скорее, как церковная книжка...

— А можно открыть? — опять шепотом спросил Кинтель.

Салазкин снял с медных шпеньков колечки пряжек, отогнул верхнюю крышку, корешок тихо заскрипел.

— Переплет из телячьей кожи, — объяснил Кинтель. — Пересох уже, надо осторожно, чтобы не потрескался...

На левой странице была картинка: парусная лодка в окружении всяких завитков и оружия. Справа — титульный лист. Старинные буквы всякого размера:

книга
УСТАВЪ
морской

о всемъ что касается доброму управленію
въ бытности флота на морѣ

А ниже, под чертой:

Напечатася повелѣніемъ
ЦАРСКАГО
велѣчества
въ санктѣПетербуржской типографіи
Лѣта Господня 1720
Апрѣля въ 19 день.

— Двести семьдесят один год назад, — выдохнул Салазкин. — С ума сойти, верно, Даня? Может быть, ее сам Петр Первый в руках держал.

— Может, — согласился Кинтель. Но почти машинально. Думал о другом. И неровно, в какой-то странной пустоте перестукивало сердце. Как при чтении книжки, в которой вдруг нащупывается приключенческая нить. Или как в игре, когда вечером крадешься в репейных джунглях на пустыре и слышишь шорох того, кого ищешь. С тем же замиранием, только сильнее.

...— Смотри, Даня, он на двух языках. Слева русский текст, а справа голландский. Петр, он же много взял из Голландии для флота...

— Потому и толстая такая, — рассеянно отозвался Кинтель.

— Жаль, что нескольких листков и таблиц не хватает... Зато смотри, какая надпись... вот там, сзади... — Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. На чистом обороте заднего листа выделялась хитрая вязь рыжих от старости чернил. Кинтель с трудом разобрал только верхнюю строку. Опять же: «Книга Морской Уставъ...»

— Непонятно...

— Папа прочитал: «Книга Морской Устав корабельного мастера Василья Алексева, сына

Селянинова, дворянина города Зупцова...» «Зупцов» — через «п», но, наверно, на самом деле «Зубцов». Есть такой городок на Волге, выше Калинина. То есть Твери...

— Там корабельная верфь была?

— Не знаю... Может быть, этот Василий Селянинов там просто свой век доживал. Ну, как на пенсии...

— Странно, что дворянин. Мастера, они же были из простого народа.

— Не исключено, что император пожаловал ему дворянство за хорошую работу...

«Не исключено», — согласился про себя Кинтель. Но опять отрешенно. Главная мысль была о другом.

— Сань, я хочу поглядеть на нее на закрытую.

Салазкин поспешно захлопнул «Устав».

— Смотри, Даня, здесь на пряжках маленькие портреты, голова в парике. Папа говорит, что это, возможно, изображение императора...

В самом деле, в центре медных узорчатых застежек были крошечные лица в обрамлении буклей. Но теперь уже не разобрать, чей портрет. Да и не важно. Вернее, не это важно.

— Салазкин, сядь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло. И книгу возьми, вот так. Скорее.

Салазкин слегка испуганно послушался. Кинтель положил ему «Устав» корешком на коленку с коричневой родинкой-бородавкой, приоткрыл.

— Палец вот сюда, между листами... — И отошел, приглядываясь, как фотограф в ателье. Салазкин смотрел с радостным непониманием: что, мол, за игра такая? Кинтель — руки в боки, прищурился. В нем разгорлася азарт поиска и близкого открытия. И стало весело (хотя дело-то в общем серьезное).

— Наклони книжку чуть-чуть ко мне... Ага... И сядь строго, как... старая дама.

— Так? — Салазкин сделался словно деревянный.

— Вот-вот... Жалко только, что не похож ты на мою прапрабабушку.

— Пра... на кого?

— На мою прапрабабушку Теклу Войцеховну Винцуковскую... Между прочим, ее предки были графы в свите польского короля Стефана Батория... Можно, я возьму это покрывало? — Кинтель кивнул на диван.

— Конечно.

Кинтель сдернул с дивана рыжий мохнатый плед, поднял Салазкина на ноги, двумя взмахами соорудил на нем длинную юбку. Снова опустил изумленного Салазкина в кресло.

— Сядь по-прежнему... Ага! Ну, точно как на фото...

— Может быть, ты все-таки объяснишь... — робко начал Салазкин.

— Ага... Если все сойдется, дед будет потрясен...

— А... он кто, твой дедушка? — вежливо поинтересовался Салазкин. Спрашивать о сути дела он уже не решался. — Тоже потомок графов?

— Он медик... Сиди, сиди, я приглядываюсь... Раньше он был судовой врач, а сейчас заведует врачебными кадрами. А насчет графства... С одной стороны, выходит, — да. Со стороны матери. А по отцовской линии дальний предок был матросом... — Кинтель слегка потускнел, вспомнив о «Рафаиле». Но не надолго. Главное — книга!

Салазкин смотрел молча и вопросительно. Он мог в конце концов обидеться, раз Кинтель ничего не объясняет!

— Сань, я все расскажу!.. Чуть позже, ладно? Завтра же. А сейчас... понимаешь, я суеверный, сглазить боюсь. — Это он вроде бы и с шуткой объяснил, но на девяносто процентов всерьез.

— Ну, хорошо... Можно я уже сниму эту юбку?

— Конечно! Спасибо, Сань... Я пойду, надо теперь срочно...

Салазкин встрепенулся:

— Я тебя провожу! С Ричардом. Ему все равно надо гулять.

— Но я не домой, а к... родственникам, на Сортировку. Тут рядом как раз остановка тридцать пятого...

— Ну, тогда до остановки... Можно?

— Ну, конечно же! Идем!

ЦИФИРЬ

В квартире на Сортировке не оказалось ни отца, ни тети Лизы. Дверь открыла Регишка, поглядев предварительно в глазок и пискнув: «Это ты, Даня?»

— Привет, мартышка. А где предки?

— Папа — не знаю. Мама ушла к тете Рае. Сказала, что скоро вернется, а целый час нету...

— Придет, никуда не денется. А ты сиди, учи уроки, большая уже.

— Нам еще не задают... У нас учительница вос-хи-ти-тельная.

— В первые дни все учительницы восхитительные, — вздохнул Кинтель. — Знание суровой жизни приходит позже... — Регишка в этом году пошла в первый класс.

Кинтель прошел к письменному столу отца. Ящики там не запирались. Кинтель знал, что в левом — всякие старые документы, почетные грамоты, квитанции и фотографии. Выдвинул, пошарил. Нашел...

Вот она, прапрабабушка, вот они девочка Оля и мальчик Никита из давних, почти легендарных времен. Текла Войцеховна — прямая, строгая, уверенная в правильности всех своих мыслей и поступков. Сидит, заложив палец в книгу, которую держит на колене. Книжка — ну в точности как та, у Салазкина!..

Девочка Оля (неужели это прабабушка Кинтеля?!) тоже смотрит строго. Наверно, нарочно, чтобы мама не обвиняла в несерьезности. А Никита... У него грустная полуулыбка и взгляд чуть в сторону. словно этот гимназист ведаёт какую-то тайну. Может, знает заранее, что случится с ним в Крыму в двадцатом году? «УМ 1920 г.» — написано (вернее, нацарапано — тонко, как иглой) рядом с ним. Вернее, между ним и книгой... А может, Никита уже придумал письмо, которое после напишет на обороте снимка своим шифром?

Кинтель перевернул фотографию. Густая россыпь чисел — они тоже не то написаны острым бесцветным грифелем, не то выдавлены им. Разобрать, однако, можно, если постараться...

«Цифирь», — пришло в голову старинное слово. Это было подходящее название для числовой путаницы и загадки.

Числа были сложные. Сначала крупные — из двух или трех цифр, а рядом — дробь. Например: $843\frac{4}{22}$. И так сверху донизу, по всему обороту снимка. Поди разберись...

«Но, может, и разберусь! Если книга эта и правда «Устав» Петра...» Опять зазвенели струнки азарта. Кинтель, не долго думая, сунул фотографию в портфель.

— Папа станет ругаться, — заметила Регишка. Она вертелась рядом.

— Пусть ругается. Это общая фотография, семейная, значит, я тоже имею право... Да он и не узнает, я через несколько дней принесу.

— Ты так редко приходишь, — грустно сказала Регишка. И тронула щекой рукав Кинтеля.

— Дела всякие...

— У тебя всегда дела. А летом говорил, что вместе пойдем гулять.

— Ну... еще все равно почти лето. Вот выберу время — и пойдем...

— Когда выберешь? А то я совсем...

Кинтеля нехорошо царапнуло.

— Что «совсем»?

— Ну, скучно...

— Ты же в первом классе! Сколько дел!

— Это с утра в классе. А потом...

— А мама с папой никуда, что ли, с тобой не ходят?

— Мама с папой только ругаются все время друг с другом, — с тяжелой, как ртуть, грустью сообщила Регишка. — Им некогда.

Кинтель взял ее за подбородок. Печальная обезьянья мордашка. И под глазами темновато...

— Ладно, мартышка, завтра приду. В парк пойдем на аттракционы. Только после обеда.

— Опять сочиняешь небось...

— Честное пионерское, — усмехнулся Кинтель.

— Сейчас пионеров не бывает, — серьезно сообщила Регишка. — Маргарита Сергеевна говорит, что и октябрят, наверно, не будет.

— Как это не бывает, если вот он, галстук! — шумно возмутился Кинтель. — Ну, ладно. Бывают или нет пионеры, а я приду. Ровно в два часа выходи из подъезда и жди.

— Ладно! Я желтое платье надену!

— Да, будь покрасивее. Умыться не забудь.

Несмотря на субботу, деда все еще не было дома. Кинтель поставил на плиту сковородку с макаронами, вытащил из дедова ящика с коллекциями лупу, через которую Виктор Анатольевич разглядывал значки и прочие свои редкости. Достал снимок.

...Дед появился после десяти вечера. Принюхался.

— По-моему, что-то у нас горело.

— Макароны! Ты бы еще дольше ходил где-то! Ночь на дворе, сколько можно ужин подогревать! Вот и подпалил...

— Дела, брат Данила...

— А макароны я новые приготовил, с колбасой. На сковородке под зеленой крышечкой... Сам я уже поел.

— Тронут заботой, — рассеянно отозвался дед.

— Толич... Скажи, у твоей бабушки, у Теклы Войцеховны, мог быть старинный «Морской устав»? Петра Великого...

— М-м... С какой стати?

— Ну, вообще в доме. Среди других книг...

— Морской устав... Кто его знает. Не исключено. Это ведь правовой документ, он действовал почти без изменений до самой Русско-японской войны. А дед-то был адвокат, у него, конечно, хватало всяких сводов законов... Откуда вдруг такой интерес?

— Потому что вот... Иди сюда к лампе... — Кинтель взял со стола снимок и линзу. — Твоя бабушка держит в руке вовсе не Евангелие, а «Устав» Петра Великого! Я такой же в точности видел сегодня!

Дед никогда не показывал большого удивления. И сейчас только спросил:

— Ты уверен?

— Да! Я в лупу разглядывал, в нее даже узор на застежках виден, такая четкость! Смотри сам! Тот же узор, с маленькими головами. Это, говорят, портрет царя...



— Дай-ка... — Толич порассматривал снимок сквозь стекло. Почесал оправой лупы подбородок. — Ну, если даже и так... что из этого следует?

— А письмо, а шифр-то! Ты же сам рассказывал, что этот Никита говорил: «Ключ в руках твоей мамы!» Оле говорил, то есть твоей маме... Значит, можно расшифровать!

— А ведь в самом деле, — отозвался дед. Без особого, впрочем, восторга. — А книга-то где?

— Ты иди ужинай, я расскажу.

И рассказал про встречу с Салазкиным, про «Устав», пока Толич на кухне прямо со сковороды цеплял вилок макароны.

— Занятно, — сказал дед, рассеянно жуя. — Но можно ли все-таки по фотографии судить, что это *такая* же книга? Скорее просто похожая... С чего бы это бабушка увлекалась морскими делами?

— Может, увлекались Никита и Оля. А книгу дали Текле Войцеховне просто так, подержать, когда снимались... Тут есть еще одно доказательство! Глянть сам, найдешь или нет? — Он сунул деду под нос фотокарточку и стекло.

— М-м... ничего я не вижу, дай поесть спокойно... Какое еще доказательство?

— Тут написано: «Ум тысяча девятьсот двадцатый гэ»... Вроде, значит, умер в тыща девятьсот двадцатом. А приглядишься, у девятки колечка-то вроде нету. Это скорее семерка, только тут еще пятнышко случайное, вот и выходит будто «девятка»!

— Ну и...

— А «Устав»-то напечатан когда! «Лета Господня тыща семьсот двадцатого, апреля девятнадцатого дня!» Я запомнил! И «у эм» значит «Устав морской!» Видишь, рядом с книжкой написано! Специально!

— Дай-ка гляну... Что ж, можно предположить... Слушай, попить бы чего-нибудь...

— Тебе чаю или компота?

— Лучше бы кофе. У нас, кажется, оставался растворимый...

Кинтель разболтал в кипятке остатки порошка. Но сказал:

— На ночь вредно, господин доктор.

— Когда как... Дай-ка фотографию, еще посмотрю... А красивая у меня была бабушка!

— Ты лучше на цифры посмотри! Книга-то есть, а как ею пользоваться? Сразу не поймешь, зачем эта арифметика...

— Ну-у, дружище! Я думал, ты сообразительнее. Ясно же, что большое число — номер страницы, числитель — строка, знаменатель — буква в строке. Старый способ...

— Толич, ты гений!

— Да? — грустно усомнился дед. — А кое-кто утверждает, что полный болван.

— С тетей Варей, что ли, поспорили? — догадливо спросил Кинтель. — Не переживай. Милые бранятся — только тешатся...

— Нахал ты, — устало сообщил Виктор Анатольевич. — И не был я нынче у Варвары. А торчал допоздна, да будет тебе известно, на внеплановом заседании Областного детского фонда с участием исполкомовских и медицинских деятелей. И узнал о себе много интересного...

— А именно? — оживился Кинтель. До сих пор его скребло: почему дед отнесся к открытию без должного энтузиазма? Казалось бы, Толич должен был загореться не меньше внука, а он какой-то вареный. Теперь же все понятно, — когда служебные неприятности, не до тайн и приключений! Но это пройдет...

— Кучу вопросов пытались решить без всякого успеха... Конфисковали у райкомов пять отличных зданий, детская больница обрадовалась: ну, теперь получим корпус для ожогового отделения! А то малышей, которые на грани жизни, буквально в развалинах лежат... И исполкомовские чины говорят: шиш вам, есть заявки поважнее... Сволочи! Поважнее, чем умирающие дети!..

— Дед, ты поспокойнее, — озабоченно сказал Кинтель. — Опять будешь нитроглицерин глотать... Кофе еще тут зачем-то...

— Ничего... Я им, конечно, врезал с трибуны. «Подняли, — говорю, — над крышей трехцветный флаг вместо красного и думаете, что в этом вся революция?» А один проходимец — (у деда это было самое привычное ругательство — «проходимец») — он мне, понимаете ли, заявляет: «А вы не думайте, что если вовремя из партии сбежали, то уже и демократ! Еще неизвестно, где вы были девятнадцатого августа!» Я говорю: «Не сбежал, а заявление хлопнул на стол перед вашими персонами! А где был девятнадцатого, вам известно! Койки готовил в больнице, когда дело пошло на накал!» А он: «Интересно, для кого койки? Может, для омовцев, которые собирались митинг разогнать?» Тут я как заору: «Для всех, черт возьми! Для раненых! Мне плёвать, кто кого разгонял, если ранен. Я врач, а не чиновная крыса!..» Еле нас растащили...

— Кофе больше не пей...

— Ладно... А потом новое дело. Дама из детского фонда встает и читает заявление: у мальчика лейкемия, у нас вылечить не могут, спасти можно только за границей. Родители умоляют: нужна валюта для поездки. Кто даст? В детском фонде у них, видите ли, нет...

Я говорю: «Как же нет? Вам завод «Кабель»

передал на баланс, нарочно для больных!» А они: «У нас плановое распределение. Таких детей знаете сколько? И если выделять каждому...» А сами толпу бюрократов возили недавно в Австрию. Делегация, мол, для обмена опытом. Проходимцы... Главное, так ничего и не решили насчет мальчика... Конечно, таких детей много, особенно после Чернобыля. Да ведь для отца-то с матерью каждый — единственный... — Дед вдруг неловко замолчал, покосился на Кинтеля. Тяжело повозился на стуле и задумался.

Кинтель сел напротив. Положил кулаки на клеенку, подбородок на кулаки. Вдруг непременно пришла в сознание скрипичная музыка. Та самая...

— Толич, а твоя мама... — Кинтель с особой осторожностью говорил слово «мама». — Она... и этот мальчик, Никита... Они что, правда очень дружили?

Дед поскрипел стулом.

— Я ведь не так уж много знаю... Ну да, дружили. Играли вместе. Она в этом доме жила, а он по соседству. Сын врача, между прочим... Их дом лет десять назад разломали, а до той поры на двери так и оставалась табличка: «Доктор Таиров Матвей Сергеевич». С твердыми знаками... А еще дачи у них были рядом — моих бабушки и дедушки и доктора Таирова. На берегу Орловского озера. Два сада сливались в один. Мама говорила, они с Никитой там то в прятки, то в индейцев играли... Между прочим, помню еще один снимок, как раз дачный. Они вдвоем на качелях. Мама в белом платье. Никита в шляпе с лентой и в матроске... А еще они придумывали морские путешествия. По той карте, что над столом... Кстати, и «Морским уставом» тогда, наверно, тоже пользовались... Никите, кажется, семнадцать лет было, когда началась Первая мировая. Кинулся на фронт, вольноопределяющимся. А перед отъездом написал то самое цифровое послание, на память о детстве... Такая вот грустно-романтическая история. Давняя... — Глаза у деда заблестели, он отвернулся. — Слушай, Данила, глотну-ка я ма-аленькую рюмочку коньяка. У меня есть в аптечке. Для снятия давления и стресса...

— Только одну!

— Одну, одну... А с шифром надо разобраться. Любопытно...

— Не только любопытно. Может, и польза будет.

— Да какая же польза-то?

— А вдруг... клад?

— Тю-у... Ну, какой клад мог быть у гимназиста?

— А может, нашел старинный... И перепрятал...

— Ох, Данила Валерьевич. Вроде ты уже не дитя, двенадцать лет...

— Ну и что? Самый тот возраст, когда всякими тайнами увлекаются, — рассудил Кинтель. — Тому Соьеру было столько же, когда он клад искал. И нашел, между прочим.

— Надежды юношей питают... А если найдешь драгоценности, что будешь делать? Податься в бизнесмены, в духе времени?

Кинтель вжал подбородок в кулаки. Прикрыл глаза.

— Не-а... Может, отдам... чтобы того пацана отправили на лечение. И еще кого-нибудь. На сколько хватит...

Дед смущенно крикнул.

— Ну... дай тебе Бог, как говорится... — И встал.

— Не трогай посуду-то, — велел Кинтель. — Сам вымою. Иди уж... к аптечке.

— Ты, Данила, хороший человек, но... циник, — сказал дед с ненастоящим упреком.

— Я современный подросток...

Утром дед крепко спал. (Ох, одну ли только рюмочку он пропустил на сон грядущий?) Кинтель разогрел вчерашние макароны, пожевал, взял полинялый рюкзачок и двинул на рынок за картошкой. Хозяйственные дела проворачивать лучше с утра, пока свежие силы. Он шагал по ранней, рыже-пятнистой от солнца улице и размышлял, что надо убедить деда, чтобы сговорился насчет машины, и купить картошку сразу, несколько мешков, засыпать в сарае в подпол. И дешевле обойдется, и не нужно будет каждую неделю топать на базар по слякоти или по снегу.

Но пока слякоти не было. Безоблачная синь и обещание летнего дня...

Когда Кинтель вернулся, дед мурлыкал и жужжал электробритвой. Бодро поинтересовался:

— Какие планы на выходной?

— К Салазкину пойду. Ну, насчет «Устава»... А потом обещаю Регишку в парк сводить.

— Благородные помыслы... А я потружусь на литературной почве... — Дед выволок из шкафа разболтанную машинку «Эрика», выложил на стол пачку бумаги. — Статью буду сочинять для нашего славного «Вечернего Преображенска».

— Про вчерашних бюрократов?

— Про них родимых...

— Толич, ты и про того мальчишку напиши. Которому валюта нужна, чтобы вылечили. Может, поймут...

— Будем надеяться...

Кинтель взял из пачки чистый лист, завернул фотографию, затолкал ее во внутренний карман джинсовки.

— Толич, я пошел!

Вчера на остановке, ожидая автобуса, Кинтель все-таки проговорился Салазкину: мол, кажется мне, что прапрабабушка на фотографии держит «Морской устав». И Салазкин взял с него обещание «непрерывно появиться завтра утром!» И еще сказал: «Ты видишь, мы не зря встретились! Это просто судьба!» Сам Кинтель постеснялся бы столь откровенно и радостно выразить эту догадку. Но подумал, что, возможно, Салазкин прав...

Договорились на одиннадцать. Кинтель вышел без пяти минут. День уже разгорался, как в июле. Кинтель стянул курточку и, помахивая ею, зашагал к желтым корпусам «Дворянского гнезда».

Открыла Санина мама.

Сейчас Кинтель разглядел, что она не такая молодая, как казалась на теплоходе. Постарела за год? Едва ли. Просто Кинтель впервые видел ее так близко, без косметики, в надетом поверх пестрого платья синем халатике — как у школьной технички.

— Здравствуй... я к Сане. Он дома?

— Проходи, мальчик... Повесь курточку на крючок.

Кинтель шагнул. Повесил. Нагнулся, чтобы расшнуровать кеды. Санина мама не остановила его, как вчера Салазкин, и Кинтель мельком порадовался, что носки чистые и без дырок.

— Саню я заставила заняться уборкой в своей комнате, там чудовищный кавардак... Санки, к тебе мальчик!.. А я пошла докрашивать свою композицию.

Салазкин — встрепанный, в старом тренировочном костюме — появился в дверях. Просиял:

— Здравствуй! Какой ты молодец, что пришел!.. А меня тут взяли в ежовые рукавицы, в педа-го-гические. Исправляют трудовым воспитанием.

— Давай помогу.

— Нет, что ты! Я уже все... Пойдем, только тахту придвинем к стенке.

Они придвинули. Салазкин утащил в коридор совок и веник, стремительно вернулся. Плюхнулся на тахту, вскочил.

— Садись, Даня... А я заранее «Устав» приготовил, вот...

Знакомая книга лежала на столе. Кинтель потянулся к ней...

— Санки!.. — это голос матери долетел из другой комнаты. — На минутку, пожалуйста!..

— Даня, извини, я сейчас... — И ускакал.

Кинтель взял книгу — сгусток старины и тайн. Надо теперь сравнить поточнее: такая же, как на снимке?

Он вспомнил, что фотография в кармане курточки.

Вышел в прихожую. Мягко ступая по ковровой дорожке, дошагал до вешалки. Из-за приоткрытой двери слышны были голоса. Салазкин говорил жалобно и капризно, мама негромко и увещательно:

— Я просто советую тебе быть внимательнее. И разве тебе недостаточно друзей на Калужской?

— Ну, ты ничего не понимаешь! Ты даже не запомнила его! А там, на «Кутузове»...

— Я прекрасно запомнила. Я еще тогда обратила внимание на какую-то его... угрюмость. Если хочешь знать, это неистребимая печать улицы...

Слабея от стыда, Кинтель задержал дыхание. Увидел себя как бы со стороны. Ведь и правда, ежа не причешешь, как ухоженную кошку. И отпечаток уличной вольницы вьедается в человека, словно угольная пыль. Тем более, что и старые брюки не глажены, и майка со штопкой на боку. И как он вошел — угловатый, нескладный!..

— Кстати, почему он был с дедушкой? Кто его родители?

— Ну, откуда я знаю? Допрашивать, что ли?

— Не допрашивать, а деликатно поинтересоваться...

— Дедушка у него очень интеллигентный человек. Такой же книголюб, как папа...

Мама ответила что-то неразборчиво.

— Ну и что же! — тонко возмутился Салазкин. — Я же не могу, как Ричард на поводке! На фига было тогда переезжать сюда!

— Вот-вот! Этому ты, видимо, научился у него...

— Ничего не у него! Он... наоборот... Если хочешь знать, его прапрабабушка была польская графиня в свите Стефана Батория...

Возникший в прихожей Ричард вопросительно помахивал хвостом-обрубком и смотрел, как вчерашний знакомый осторожно снимает с крючка куртку, сует ноги в кеды. Может, гавкнуть? Кинтель, глядя в собачьи глаза, прижал палец к губам, бесшумно отодвинул язычок замка... Прикрыл за собой дверь. И в незашнурованных кедах кинулся по лестнице через все этажи: с девятого до подъезда.

УЛИЦА П. МОРОЗОВА

Обиды на Салазкина не было. Никакой. Мало того, не было обиды и на его мать. Была досада на себя и ощущение постыдного провала. Слов-

но, не умея танцевать, сунулся вальсировать посреди большого зала и оскандалился под неловкое молчание всех, кто это видел.

... Была еще злость. Но опять же не на маму и сына Денисовых, а на весь белый свет.

Когда он зашнуровал только у своего дома. Деду пришлось соврать: уехал, мол, новый приятель на дачу, неожиданно. Врать придется и после: что книжка на снимке все же не «Устав» и прочитать цифирь не удалось... Обидно. Теперь до «Устава» не добраться. Разве что когда-нибудь потом, в какой-нибудь столичной библиотеке с редкими книгами Кинтель разыщет этот раритет и разгадает тайну.

Впрочем, сейчас тайна уже не казалась такой важной. И горечи от того, что на неведомые сроки отодвинулась разгадка, почти не было. Была печаль, что не получится теперь ни дружбы, ни даже простого знакомства с Саней Денисовым, который год назад так хорошо пел песню о трубаче... Но и эту печаль Кинтель принимал с хмурой покорностью судьбе. Он привычный. Случалось переживать и не такое... Да и зачем ему этот мамин Салазкин? Ну, славный, доверчивый, хорошо с ним, не надо быть вечно ошечиненным, пренебрежительно-насмешливым, как с «достоевскими» и с одноклассниками. Однако, что поделаешь? Мало ли неплохих людей в жизни встречается и уходит... А пока надо думать о том человеке, которому он, Кинтель, действительно нужен. Такой как есть, без придинок. Регишка-то ждет!

Кинтель почистил и поставил вариться картошку. Деду (который все стучал на машинке) велел следить, чтобы «не сплавить на плиту варев». Потом соврал еще разок: сказал, что обедает у отца.

Когда Кинтель прикатил на Сортировку, было как раз два часа и Регишка нетерпеливо пританцовывала у подъезда. Вся — ну, будто подсолнух: в желтом платье, в желтых колготках, с бантами солнечного цвета.

— Ты прямо как прожектор. Издалека видеть.

— Это, чтобы я от тебя не потерялась... Мама, мы пошли!

— Долго не гуляйте! — крикнула из окна первого этажа тетя Лиза.

Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде-драконе, который бодро бежал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз — пластмассового зайчонка (когда-то такого же подарила Кинтелю в детском саду Алка Баранова). Высадили грудку мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кинтеля была десятка — запас еще от прошлогоднего летнего заработка, — а через два часа осталось меньше рубля.

Регишка вела себя очень пристойно. В меру радовалась аттракционам и мороженому, в меру смеялась, но чаще была серьезной. А Кинтеля, несмотря на всю парковую пестроту и суету, не оставляли мысли о Салазкине. И наконец он с облегчением побренчал в кармане мелочью.

— Все. Финансов только на автобус. Топаем домой.

— Хорошо.

В автобусе и по дороге к дому Регишка была задумчивая. Держала Кинтеля за руку и молча смотрела под ноги.

— Ты чего приуныла? Устала?

Она почесала пластмассовым зайчонком нижнюю губу. Подняла мордашку — глаза непривычно темные. Сказала по-взрослому:

— Даня, мне кажется, мы оба сегодня притворялись...

— Как это?

— Ты веселился не по правде, у тебя какие-то заботы.

Кинтель вздохнул.

— А у тебя?

— У меня... потому что папа и мама по-настоящему собрались разводиться...

— Да ты что!

— Да. Раньше они просто ругались, и это было еще ничего. А сейчас папа говорит: «Будем разменивать квартиру»...

Кинтель молчал. Регишка, хотя была и не родная отцу, но любила его: все-таки пять лет вместе, с младенчества.

— Может, еще раздумают...

— Нет уж, — Регишка помотала бантами. — Даня... а ты будешь приходить ко мне, когда папа уйдет?

Тут у него непрощено щекотнуло в гортани. Он кашлянул, сказал тихо, но со всей твердостью:

— Буду. Пусть разводятся, это их дело, а мы с тобой... все равно. Не бойся...

— Тогда хорошо... — Она покрепче ухватила его ладонь. — Я хочу сказать, что тогда это не так страшно...

Тетя Лиза крикнула из окна:

— Появились! Наконец-то! Идите быстро, я вас покормлю!

— Нет, я не хочу! — отозвался Кинтель. На самом деле есть хотелось ужасно, хотя, кроме мороженого, они в парке еще сжевали по пирожку с повидлом.

— Даня, зайди хоть на минуту! Папа хочет с тобой поговорить!

— Ох, — прошептала Регишка. — Я тебя, кажется, выдала.

— Как?



— Вчера папа в ящике какие-то облигации искал, а потом спрашивает: «Ты не знаешь, кто ко мне в ящик лазил?» А я говорю: «Даня фотокарточку взял»... Не надо было, да?

— Почему не надо? Все нормально...

— Даня, ну зайди! — Это опять тетя Лиза. — Папа просит!

— Мне домой пора, дедушка ждет!

— Постой тогда, папа сам выйдет!

— Беги домой, — сказал Кинтель Регишке. Та ушла, и тут же появился отец.

— Привет, наследник. Я тебя провожу, не возражаешь?

Кинтель не возражал. Но, когда пошли, сказал сразу:

— Уж не думаешь ли ты, что я твои облигации стащил?

— Не думаю... Я их в бумажнике обнаружил... А фотография-то тебе зачем?

— Предками интересуюсь. Голос крови проснулся...

— Дед небось рассказами своими тебе мозги пудрит? — хмыкнул Валерий Викторович.

— Ну и... а тебе-то что?

— Да ничего... А он как сейчас? В каком настроении? Побеседовать мне с ним надо.

— О будущем, что ли? — напрямик спросил Кинтель.

— В курсе уже?

Кинтель заверил с тайной ноткой злорадства:

— Дед не одобрит.

— Ты, я смотрю, тоже не одобряешь?

— Дело ваше. Только Регишку жалко...

Отец помолчал на ходу. Потом бросил в сторону:

— Меня вот только никому не жалко...

— Сравнил, — сказал Кинтель. Подумал и добавил: — Непонятно, почему вы такие...

— Кто «вы»?

— Взрослые... Все время предаете детей.

— Ты это... поконкретнее.

— Ну, например, ты. Сперва меня, сейчас Регишку...

Отец тяжело проговорил:

— Насчет себя ты матери скажи спасибо.

— Легко теперь на мертвых валить.

— А она живая была, когда бросила! И тебя, и меня!.. Ты знаешь, как она пила? Вроде бы культурный человек, высшее образование, а... Ты деда спроси! Сама ушла, я не прогонял... Может, и лучше, что этот случай с «Нахимовым». Для нее лучше...

— Еще что скажешь... — тихо отозвался Кинтель.

— Ты ведь многого не знаешь, не помнишь... Такая приходила, что страшно было к тебе под-

пускать. И сама захотела, чтобы ты у деда с бабушкой...

— Ну, и ты не возражал..

— Господи, а что тебе известно про мою тогдашнюю жизнь?

«А тебе про мою?» — подумал Кинтель. Но промолчал. Тошно было от голода и печали. Подошли к остановке.

— Вон «тридцать пятый» стоит, я пойду...

— Ну, топай... Не суди строго-то.....

— Да мне-то что, — сказал уже издали Кинтель. Стало вроде бы жаль отца. Но что тут поделать, он не знал.

Глядя, как внук уминает жареную картошку, дед сообщил:

— Тут появлялся один мальчуган, тебя спрашивал.

— Какой? — подскочил Кинтель.

— Судя по всему, твой новый приятель. Небольшой такой, в ковбойке, в коротких штанишках. Весьма вежливый... Его наш сосед Витя Зырянов привел. «Вот, — говорит, — Кинтеля ищет».

«Не побоялся! Сам сунулся к местным, чтобы показали!»

— Ну, и что ты ему сказал?

— Ну, что... «Ушел, — говорю, — с сестренкой в парк, придет, наверно, поздно»... Он, судя по всему, опечалился.

Только сейчас Кинтель полностью понял, что Салазкину тоже несладко. Скорее всего, тот догадался, что Кинтель услышал разговор и потому исчез. И теперь Салазкин, конечно, мается. Тонкая ранимая душа! И Кинтель хмыкнул. Вдруг поднялась на Салазкина такая досада. Кинтель постарался эту досаду подогреть и сказал себе, что Салазкин так храбро сунулся на улицу Достоевского, потому что не один, а с Ричардом.

— Он с собакой был?

— Нет, без всякого четвероногого. Только с Витькой...

Надо же! Впрочем, Кинтель ведь обещал Салазкину, что никто его не тронет...

Потом Кинтель подумал: а завтра-то что? Наверняка Салазкин отыщет его в школе. И будет небось жалобно смотреть и ненатурально спрашивать: что случилось?

А ничего не случилось. Просто незачем тебе, Саня Денисов, липнуть к Кинтелю, мама права. И годы у вас разные, и это... уровень культуры. И дружить без маминого позволения воспитанный мальчик ни с кем не должен. Еще курить научиться и слова говорить всякие...

Растравив себя таким образом, Кинтель улегся на свой старенький диван и открыл наугад Гоголя. Но попался «Тарас Бульба» — то место, где

он убивает Андрия. Кинтель плюнул, уронил книгу на пол и отвернулся к спинке...

Утром в сводке погоды радио сообщило, что еще два дня будет сухо и тепло, а потом придет резкое похолодание с дождями. Скорее бы! Потому что сырая унылость подходила состоянию души Кинтеля гораздо больше нынешних абсолютно летних дней.

В школу Кинтель подгадал нарочно к самому звонку — так, чтобы не столкнуться с Салазкиным, если тот ищет встречи. На переменах старался поменьше крутиться в коридоре. Раза два он замечал Салазкина в толпе и однажды показалось даже, что Салазкин поспешил навстречу. Кинтель укрылся за дверью кабинета истории. Туда, к семиклассникам, Салазкин сунуться, видимо, не решился.

На последней перемене они все-таки столкнулись у туалета. Кинтель растерянно замигал, у Салазкина расширились зеленые глаза — в них и надежда, и вопрос, и виноватость. Но в этот миг загремел звонок, толпа ринулась из дверей, оттеснила Салазкина, и Кинтель вбежал в кабинет русского языка, в «Дианово царство».

Весь день Кинтель был в сумрачно-рассеянном настроении, а сейчас появилась злость. Из-за того, что так по-дурацки растерялся (струсил даже!) при встрече. И вообще это глупо! Все равно ведь никуда не спрячешься, раз в одной школе. Не сегодня так завтра Салазкин подойдет. И что тогда?.. Может послать его подальше теми словами, которые в ходу на улице Достоевского и в школьном туалете? Чтобы сразу все оборвать... Но Кинтель представил, как беззащитно мигает Салазкин, виновато затопчется на тонких ножках... А в чем он виноват-то? Мама виновата, оберегает сыночка...

Точила еще и мысль, что виноват сам он, Кинтель. На кой черт надо было боязливо литься из Денисовской квартиры? Ну, покосилась бы Санина мать на подозрительного гостя, а потом, глядишь, и привыкла бы. Увидела бы, что не юный рэкетир, не наркоман и не шпана, и все наладилось бы. И «Морской устав» оказался бы под рукой!.. А теперь под откос! Дернула нелегкая чужой разговор подслушивать. Мало ли про что мать и сын говорят наедине. Самолюбие заело идиота...

«Ну, и заело! — огрызнулся на себя Кинтель. — Приятно, что ли, когда смотрят как... на вражеского агента. Ах, завербует милого мальчика в хулиганы...»

«А жил бы ты сам с матерью, и было бы тебе не двенадцать, а десять лет, и привел бы ты в дом неизвестно кого... Думаешь, она не затревожилась бы?»

И тут Кинтель наконец перестал скрывать от себя, что дело не только в самолюбии, в стыде за свою неотесанность. Дело все в той же давней зависти, в сладковато-ревнивом чувстве, с которым он смотрел на Салазкина и его мать еще на теплоходе. Как она поправляет ему воротник и прическу, как волнуется, когда он акробатничает на бревнах. И как другие матери тоже «пасут» своих пацанов. Это был счастливый, недоступный мир. И вчера этот мир по закону своей природы оттолкнул Кинтеля, угадал в нем чужака...

Это понимание стало наконец таким ясным, что у Кинтеля зачесалось в уголках глаз — где рождаются жидкие соленые горошины. Кинтель часто замигал, глядя за окно — там солнце насквозь просвечивало желтые клены.

— ...Все смотрим на доску! Кто скажет, какой в этом слове суффикс? Не вижу рук... Рафалов, ты смотришь на доску или витаешь в облаках?

— Витаю, — тихо сказал Кинтель.

— А если это обернется двойкой?

— Дать дневник? — спросил Кинтель. Все так же негромко, но уже напряжив нервы. Загоревшаяся искорка конфликта спасительно уводила мысли от горькой темы.

— Охамели вы все, — сообщила Диана Осиповна. — Что за время... Когда я училась, невозможно было представить, что школьники могут так разговаривать с педагогами.

— Это было во времена Иосифа Виссарионовича? — осведомился Глеб Ярцев — интеллигент, язва и любитель эпиграмм.

— Нет, Ярцев, я не столь древняя мумия и родилась уже после кончины «отца народов». Но должна сказать, что мы напрасно отказались от всех без разбора завоеваний той эпохи. Строгая дисциплина и порядок в делах ох как были бы полезны в наше время...

— Это точно, — подал голос Артем Решетило, сын директора местной телестудии. — Раньше в каждом бараке каждый знал свои нары... И опять кой-кому порядка захотелось, в августе.

— Ой, только не надо, не надо о политике! Теперь каждый готов речи говорить, лишь бы делом не заниматься!.. А между прочим, старые методы кое-где возвращаются. И приносят весть-ма ощутимые плоды. Как, например, в Ставропольском крае...

— А что в Ставропольском крае? — слегка кокетливо спросила Алка Баранова. И стрельнула в Кинтеля глазами.

— Не читали в газетах? Жаль! Там казачий круг постановил воспитывать разболтанных подростков дедовским способом. Приводят в исполком и в присутствии родителей и комиссии по

делам несовершеннолетних велят снять штаны. И нагайкой... Говорят, в окрестных школах очень укрепилась дисциплина.

— Тут ведь навык нужен, — заявил Артем. — У них, у казаков-то, традиции, а у нас в школе кто пороть будет? Лично вы?

— Тебя, Решетило, с а-агромнейшим удовольствием...

Чтоб закрутить режима гайки,

Лишат тебя штанов, Артем,

И всыплют двадцать две нагайки

Демократическим путем! — стремительно сочинил Глеб Ярцев. Девчонки заплодировали. А когда утихли, Кинтель проговорил, ощущая нервный холодок:

— Это полумеры. Лучше уж вывести полтыщи виноватых на майдан и очередями из «максимов». Как большевики пленных офицеров Врангеля в Крыму...

— И Крым стал с той поры солнечным, — заметил Ярцев уже прозой.

— Да, — сказал Кинтель. — И сейчас тоже сразу будет дисциплина. Как на братском кладбище.

Диана Осиповна скрестила руки на бюсте. Покивала.

— Да-да. Вы готовы до бесконечности развивать любую тему, лишь бы не заниматься учебной программой... — В это время затарахтел звонок. — Все! Идите на перемену. Задание запишете на классном часе. В этом же кабинете...

Негодование овладело демократически настроенным обществом.

— Какой классный час?! В расписании нету!

— Сейчас последний урок!

— У меня дома пес целый день не гулял! Он знаете что наделает?

— Заранее надо предупреждать!

— Чуть поспоришь на уроке — сразу классный час!

— Ти-хо! — Диана Осиповна тренированным голосом покрыла всплески неорганизованного протеста. — Никто не собирается обсуждать ваши споры, есть оргвопрос, это распоряжение директора! А кто сбежит...

— Пусть без родителей не является!

— Или нагайки...

— Дети, без шума! «Вы в школе или кто?! Вы ученики или где?!»

— Гусары, ма-алчать! Поручик Ржевский, как не стыдно при дамах!

Темою данного классного часа,

Будет, ребята, устройство фугаса...

Рады теперь тишине педагоги:
Всюду развешаны руки и ноги...

Но это уже так, в пространство. И в дверь, которая закрылась за Дианой Осиповной.

Кинтель не пошел из кабинета. Так за партой и дождался звонка с перемены.

Тема классного часа оказалась вовсе не «фугасная». Просто идиотская: судьба пионерской организации. Той, которой на самом деле уже не было (даже вожатая уволилась). Но Диана сказала, что необходимо «расставить все точки». Ученики сами («понимаете, сами!») должны решить, нужна ли в школе общественная работа и в каких формах она будет развиваться. Директор Таисия Дмитриевна считает, например, что пионерскую дружину следует сохранить. Только...

— Я не понимаю, почему морщится Рафалов! Один из немногих, кто еще носит красный галстук и должен, казалось бы...

Кинтель морщился своим горьким мыслям о Салазкйне. И с облегчением отвлекся от них. Сказал, что галстук носит как память о светлом пионерском детстве.

— Неуместная ирония... Таисия Дмитриевна считает, что дружину надо сохранить, но прежние формы деятельности и, конечно, имя Павлика Морозова сейчас оставлять неуместно.

— А за что его так, Павлика-то? — вдруг спросил сосед Кинтеля, безобидный Бориска Левин.

— Неужели надо объяснять?! Он стал символом доноительства, которое в прежние годы было государственной политикой! А теперь, когда восстанавливают извечные моральные принципы...

— С нагайками, — сказал Кинтель, удивляясь тому, как тянет его на скандал.

— Помолчи. Рафалов! При чем тут нагайки! Я говорю про общечеловеческие нормы. Никогда нельзя предавать отцов!

— А детей?! Их можно, да?! — взвинулся Кинтель. Словно сорвалась пружина. — Отцам детей предавать можно?! — Теперь он помнил, как беспомощно и тоскливо смотрела вчера Региска.

— При чем тут это?..

— А при том! — Кинтель подался за партой вперед. — Только и делают, что предают...

Артем Решетило (он, видать, часто слышал отцовские разговоры на такие темы) сказал обстоятельно:

— Сперва задурили парнишке голову светлым будущим... Это я о Морозове. Потом зарезали. Родственнички, за папу заступились. Потом сде-

дали героем. А теперь поливают дерьмом каждый день. Великая страна сводит счеты с одним своим пацаненком...

«Дед также говорил», — вспомнил Кинтель. Все почему-то притихли. Диана Осиповна кашлянула.

— Никто не спорит, гибель мальчика... и его братишки — это трагедия. Но нельзя же по-прежнему оправдывать неправое дело, за которое он погиб.

— Он погиб, потому что его предали, — сказал Кинтель. И тут подал свой негромкий голос Бориска Левин.

— Афган — это тоже неправое. А солдаты, которых туда послали, разве виноваты?

— Может, их тоже, как Павлика Морозова? — спросил кто-то с задней парты. — Всех подряд...

— Ты не сравнивай! — возмутилась Светка Левицкая, главная красавица класса.

И пошло:

— А почему не сравнивать!

— А в Южной Осетии по ребятишкам стреляют! Они-то при чем?

— А по телику казали, как в интернате воспитатели...

— А когда в дневник про всякое пишут, это доноительство или как?

— Нет, если взрослые про ребят, это педагогика...

— Тихо! Да тихо же, я вам говорю! — надорвалась Диана. И стало наконец тихо. Но в этой тишине Алка Баранова задумчиво вспомнила:

— А в прошлом году физрук Леньчику Петракову как-то даст пинка. Тот заплакал и пошел к завучу. А физрук вслед кричит: «Иди, иди, донощик! Павлик Морозов нашелся!» — И она опять быстро глянула на Кинтеля. Тогда Кинтель сказал:

— Понятно, почему «Тараса Бульбу» изучают...

— Почему же, Рафалов? Изложи, — Диана Осиповна поджала губы и разомкнула опять. — Можешь не вставать...

Но Кинтель поднялся. Зашевелилось в нем что-то похожее на песенку о трубаче. Плюс все горечи прошедших дней. Плюс щекочущая глаза обида. И он выдал — спокойно так и убежденно:

— Потому что написано, как можно убивать сыновей. Не моргнув глазом. «Я тебя породил, я тебя и убью...» Шарах из берданки, и никаких вопросов...

— Ты что? Оправдываешь преступление Андрия?

— А убийство без суда — это тоже преступление, — сказал Бориска Левин.

— Левин, я знаю, что твой папа адвокат и ты подкован... Однако тогда были другие условия и права. Другая эпоха...

— Чего в ней другого-то? Сейчас тоже о нагайках тоскуем, — сказал Артем Решетило.

Кинтель, глядя через стекло на листья клена, выговорил раздельно:

— Этот Бульба просто трус.

— Ты, Рафалов, соображаешь, что говоришь? — это она даже не с возмущением, а с жалобным страхом.

— Конечно, соображаю... Испугался, что казаки его к ответу потянут за сына: как ты допустил, что он к полякам переметнулся? Вот и решил, чтобы концы в воду: «Я его своей рукой! Видите, какой я сознательный!»

— Ты... У меня даже слов нет! — Красивое лицо Дианы запылало. Да такое ли уж красивое оно, если злое? «Некрасивая красота, — мелькнуло у Кинтеля. — Как у матери Салазкиной. И он добавил с ощущением сладкой мести:

— А старшего сына он тоже предал.

— Как предал?! Он, рискуя жизнью, пробрался в Варшаву! Чтобы поддержать его в последний миг!

Кинтель пренебрежительно шевельнул губой:

— Ничего себе поддержал. «Слышу тебя, сынку!» — и скорее ноги уносить... Уж выхватил бы тогда саблю да на выручку. Бесполезно, конечно, да все же легче, чем слышать, как сыну кости ломают...

Диана Осиповна потеряла щеки. Вроде успокоилась.

— Ты легко рассуждаешь о вопросах жизни и смерти. В твоём возрасте это вроде игры...

— Ну, а если мы такие глупые, зачем это изучать... в таком возрасте.

— Не «мы», а ты... Я понимаю, каждый может иметь свою точку зрения на классиков, но должен же быть предел.. Уважение какое-то!..

— Дать дневник? — сказал Кинтель.

— Нет... Но я очень хотела бы встретиться в ближайшие дни с твоей матерью.

Кинтель молчал, ощущая тишину. Опять посмотрел на листья. Потом объяснил — миролюбиво так, даже устало:

— Я думал, что в учительской всем известно, что моя мама утонула на пароходе «Адмирал Нахимов». Помните, была катастрофа в семьдесят шестом году...

«А теперь держись. Чтобы ни один волосок не намок на ресницах...»

— Ну... извини, — с придыханием попросила Диана. — Ты... сам довел меня почти до стресса... Извини.

Кинтель смотрел в окно. Красиво там было. Золотисто.

— Рафалов, ты вот что... иди-ка домой. Это не в порядке возмездия, а... просто так. Ты какой-то не такой сегодня, тебе надо успокоиться.

— Да, наверно... — И Кинтель потянул из парты портфель.

Почему она его отпустила? Устыдилась нелепых своих слов о матери? Увидела, что Кинтель весь «на нервах»? Или испугалась дальнейшего спора о Гоголе?.. Ну и фиг с ней. Кинтелю не хотелось больше думать ни о чем. Пришло к нему ленивое успокоение. Потому что не может человек все время быть натянут, как тетива у лука. И в этом успокоении ни школьным делам, ни даже мыслям о Салазкине уже не было места. Зато, когда Кинтель побрел к дому, шевельнулась в нем и повела мелодию музыка — тот самый скрипичный романс.

И Кинтель понял: чтобы окончательно успокоить душу, надо поехать *туда*.

Кинтель не стал сопротивляться этому зову. Свернул на Красноармейскую, к трамвайной линии, сел на «четверку» и через двадцать минут сошел на остановке «Детский парк».

По правде это был не парк, а сквер, где гуляли с внучатами бабушки да устраивались на скамейках дядьки с добытым в боевой очереди пивом. Но такое случалось днем, а теперь на главной аллее была тишина и пустота. Верхушки тополей были оранжевыми от уходящего солнца, стало прохладно. Бронзовый Павлик Морозов — маленький, ростом с обыкновенного мальчишку — стоял на гранитном пьедестале. Прямой, тощенький, со сжатыми кулаками опущенных рук и вскинутой головой. Голова, плечи, распушенная рубашка были облиты грязно-серой краской. А на постаменте кто-то нарисовал суриком фашистский знак. В позе Павлика, в повороте его головы было отчаяние и упрямство...

Кинтель глянул на памятник и отвел глаза. Словно в чем-то виноват.

Аллея, что тянулась от главного входа, через сотню метров упиралась в забор из решетчатого бетона. В нем была калитка, она вела на улицу имени того, кому стоял в сквере памятник, — «П.Морозова». Но Кинтель не пошел туда. Метрах в десяти от выхода, у пыльных кустов желтой акации, стояла скамейка. И Кинтель привычно сел на нее.

Над решетчатым бетоном и кустами виднелся верх пятиэтажной панельной «хрущобы». Она стояла на другой стороне улицы П.Морозова. Солнце пряталось как раз за этим домом, и он казался на фоне светлого неба почти черным.

Кинтель отыскал глазами второе с краю окно на верхнем этаже. Окно было открыто. Значит, она там...

«Та-а... та-та, та-та-та...» — прошелся по невидимым струнам ласковый смычок. Повел мелодию плавно, с хорошей такой грустью. Кинтель отдался этой грусти без сопротивления, поплыл как в прогретой летним солнцем воде... вот шевельнулась штора, зажегся за окном неяркий свет... А может быть, она сама покажется в окне? Пускай темным, плохо различимым силуэтом, все равно... Да нет, вечером ей не до того, чтобы стоять у окна. Небось дел по хозяйству выше головы... Ну, ладно, все равно она там, в этой комнате с желтым светом. И ниточка от Кинтеля тянется туда. Вернее, такой тонкий невидимый луч. И, может, однажды она ощутит этот луч, почувет что-то...

Зашуршал под осторожными шагами сухой лист. Не шевельнувшись, Кинтель досадливо скосил в сторону глаза. У края скамьи стоял виноватый, с опущенной головой Салазкин...

Трудно сказать, чего больше испытал Кинтель — досады или радости. Только одного не было совсем — удивления.

— Следил, что ли? — сказал Кинтель устало.

Салазкин переступил на шелестящих листьях. Головы не поднял, объяснил шепотом:

— Да... я шел следом. И ехал... Извини...

— Ладно, извиняю... — хмыкнул Кинтель, хотя насмешничать не хотелось. — Садись, раз... донгал.

Салазкин быстро глянул из-под волос, присел на край скамейки. Бросил к ногам сумку. Потрогал на коленке похожую на горошину бородавку.

— Понимаешь... я был там у школы. За деревьями. А ты вышел... такой... ну, будто у тебя что-то случилось. И пошел не домой, а к трамваю... Я и подумал: когда человек в таком состоянии, он... мало ли что...

— Решил, что я голову положу под колеса? — Кинтель не сдержал язвительной нотки.

— Ну... я понимаю, что это глупо. Только я... ужасно мнительный. Это все говорят.

— Салазкин, не валяй дурака, — прямо сказал Кинтель. — Тебе просто надо выяснить со мной отношения.

— Ну... и это тоже...

Кинтель покорно вздохнул:

— Давай.

— Что?

— Спрашивай: «Почему ты ушел ни с того ни с сего...»

Салазкин понажимал бородавку, словно кнопку.

— Я знаю. Ты слышал наш с мамой разговор и обиделся...

— Да не обиделся я. Не в этом дело.

— Нет, ты обиделся. И совершенно справедливо... Даяня, ну что я могу сделать, если она такая?!

— Ты на мать бочку не кати, — сурово сказал Кинтель. — Она хорошая.

— Да! Я знаю, конечно! Только... у нее ряд предрассудков... Вот и ты ушел из-за этого...

— А ты представь себя на моем месте.

— Я представил... — Салазкин опять поник головой. — Я понимаю... Но мне-то что делать теперь? На моем месте... — Это он совсем тихонько сказал. И Кинтель опять ощутил притяжение к доверчивому и отважно-беззащитному Салазкину. То самое, которое испытал впервые, услышав песню о трубаче. Тут была и готовность защитить его от врагов, и желание узнать у него какую-то тайну...

— А ничего не надо делать, — буркнул он. — Обойдется...

— Я уверен, что мама все поймет.

— Вот и хорошо... — Это получилось у Кинтеля совсем неласково, с недоверием, но Салазкину оказалось достаточным и того. Он засмеялся. Потом нервно подышал на ладони, потер ноги и локти. Вместе с сумерками подкралась неуютная зябкость.

— Продрог небось, — ворчливо заметил Кинтель. — Не лето уже.

— Чепуха... А у тебя руки тоже голые.

— Я привычный.

— А я думаешь нет?! Приходится закаляться с весны.

Кинтель хотел спросить, почему это такой домашний Салазкин должен закаляться? Неужели мама велит? Но не решился, сказал о другом:

— Тебя небось уже ищут. С фонарями по всем улицам...

— Я позвонил маме на работу, что задержусь... с одним товарищем. И что он меня проводит.

— Нехорошо обманывать маму, — не удержался, поддел Кинтель.

— Я... собственно говоря, я не обманывал, просто не уточнил. Я ведь не сказал, «с лучшим другом». А товарищем назвать... можно и того, с кем плавал однажды на теплоходе. — В этом было что-то вроде жалобного, неумелого отпора. И Кинтель слегка устыдился. Встал.

— Пойдем.

— Куда? — почему-то испугался Салазкин.

— Домой. Ты же обещал, что товарищ проводит. Надо выполнять.

— Но... ты, наверно, здесь чем-то занят. Мне показалось...

— Чем занят, то уже... все, — Кинтель попрощался с окном глазами. — Пошли.



Они двинулись по аллее. Неторопливо. Салазкин слегка отставал. И вдруг сокрушенно проговорил из-за плеча Кинтеля:

— Я ужасно навязчивый, да?

— Нет... — Кинтель ощутил нарастающую бодрость. — Не ужасно. В самый раз! — Это он выдал уже с дурашливо-радостным оттенком. И Салазкин догнал, пошел рядом.

— Только смотри, чтобы дома не узнали, с каким товарищем ты болтался, — весело предупредил Кинтель. Салазкин сердито приснул губами:

— Я не собираюсь скрывать... если мама спросит. Я имею право выбирать... друзей.

— Она решит, что я водил тебя в дурную компанию. И приучал к выпивке и сигаретам.

Салазкин с готовностью посмеялся и вдруг спросил:

— Даня, а ты уже пробовал курить?

— Естественно! У нас в округе все пацаны смеют... Сейчас только трудно с сигаретами, они же в сто раз подорожали. А бычки сшибать противно... Да для меня это уже пройденный этап. Мы с дедом завязали в один день.

Салазкин вопросительно молчал.

— Это весной было. Дед унюхал и говорил: «Выдеру по всем правилам». А я говорю: «Это не выход. Давай лучше вместе бросим — ты и я. Ты давно собирался...» Он. подумал и говорит:

«Видать, судьба. Давай. Все равно когда-то надо...»

— Я тоже один раз попробовал. Тоже прошлой весной, с ребятами за гаражом. Конечно, про это узнали, и папа не только пообещал, а по правде взялся за ремень. Единственный раз в жизни. Было совсем не больно, но ужасно в моральном отношении...

Кинтель вспомнил Диану с ее рассказами о казачьих обычаях. И сказал искренне:

— Свинство такое, нас готовы лупить все, кому не лень. И вообще изводить всячески... Даже мертвых в покое не оставляют, — он кивнул на бронзового Павлика, они как раз проходили мимо.

— По-моему, это чудовищная непорядочность, — согласился Салазкин. И спросил: — А твой дедушка потом ни разу слово не нарушил? Насчет курева? — «И ты?» — прозвучало в его вопросе.

— Ни я, ни он... Дед у меня насчет обещаний твердый.

— Он у вас, наверно, главный в доме, да? Ты часто о нем говоришь.

— Он... просто единственный. — И понимая осторожное любопытство Салазкина, Кинтель объяснил, чтобы уж сразу обо всем: — Мы с ним вдвоем живем. Потому что мать погибла в катастрофе, давно еще, а у отца другая семья... Ну, живем, ничего.

Салазкин дышал виновато, но и благодарно — за откровенность.

На остановке они долго ждали трамвая. Кроме Кинтеля и Салазкина под навесом сидела парочка: длинноволосый парень и тощая девица в мини. Поглядели на мальчишек, будто на пустое место, и начали целоваться.

— Идиоты, — шепотом сказал Кинтель. — Обязательно надо свою любовь напоказ выставить.

Скамейка была высокая. Салазкин качал ногами. Покачал и признался:

— А я уже влюблялся... один раз. Только это была безнадежная любовь.

Кинтель кивнул: понимаю, мол. Салазкин шептал:

— Потому что она была взрослая. Мамина знакомая. Изумительно красивая, но... я-то ей был ни за чем не нужен. Даже не смотрела... Я был счастлив, когда она перестала к нам ходить.

Кинтель сказал неожиданно для себя:

— Мама у тебя тоже красивая...

Салазкин не удивился:

— Да, это многие говорят... Даня, а ты... влюблялся когда-нибудь?

Был теперь тот настрой доверия, когда два человека будто на одной радиоволне. И Кинтель сказал Салазкину то, в чем не сознался бы ни «достоевским» пацанам, ни Алке Барановой, ни деду и никому на свете:

— Как-то раз, когда я такой был, как ты... по возрасту... я увидел девчонку... девочку. Она играла на скрипке, на улице. Ей деньги на новую скрипку нужны были... И вот с той поры... Только я больше никогда ее не встречал.

— Я понимаю. Она в том доме живет, на который ты смотрел там в саду... Да?

— Что?! — изумился Кинтель. Помигал, соображая. Потом грустно посмеялся. — Нет, Сань, тут совсем другое дело... Когда-нибудь расскажу... может быть.

Салазкин сказал покладисто:

— Хорошо. Конечно... Про ту тайну с «Морским уставом» ты тоже обещал рассказать и в самом деле скоро все объяснил... Ну, а когда ты ко мне придешь?

— Я?! Зачем?

— А как же! Разве тебе не нужен ключ к шифру?

Кинтель только сейчас вернулся мыслями к цифири. До этой минуты и не вспоминал... Да, разгадать хорошо бы. Но...

— Ты сам-то подумай! Как я к вам теперь...

— Но можно, когда мама на работе. Раз уж ты не хочешь ее видеть...

— Тайком, что ли? Сидеть и на дверь оглядываться?

— Ну, ладно! — Салазкин встал с неожиданной решительностью. А может, просто услышал дребезжащий вдали трамвай? Нет, сказал твердо: — Что-нибудь придумаем.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУНТ

«Что-нибудь придумаем», — сказал накануне Салазкин. И придумал. Перед первым уроком он разыскал в школьном коридоре Кинтеля. Таинственно отвел в уголок.

— Я принес тебе «Морской устав»... На... — И вытащил из сумки знакомую толстую книжку с ремешками и пряжками. У Кинтеля аж мороз по коже.

— Ты чекнулся?! А если дома узнают?

— Папа в командировке. А мама к нему в шкаф не заглядывает. Ей и в голову не придет...

Кинтель поежился от смеси благодарности и страха.

— Слушай, Салазкин, зря ты... Как-то это... не то...

— Но должен же ты расшифровать надпись!

«Должен. Конечно, должен!» — Желание разгадать письмо разгорелось в Кинтеле с новым жаром. Но он сказал сумрачно:

— Вот и получается, что ты из-за меня... лезешь в нехорошую историю. Мать правильно боялась.

Зеленые глаза брызнули сердитой обидой.

— При чем здесь ты? Это моя проблема — книгу тебе дать. К тому же папа никогда не запрещал мне трогать свои книги. Так что формально я ничего не нарушил...

— Он придет и покажет тебе «формально»... Второй раз в жизни...

На сей раз Салазкин не обиделся.

— Он придет лишь послезавтра. А ты сегодня и завтра посидишь над расшифровкой, а потом книгу я поставлю на место. Конечно, здесь есть элемент риска, но...

— Вот именно! «Элемент»... А если у меня портфель уведут или еще что-то случится?

— Ты уж будь осторожен, — слегка испуганно попросил Салазкин. — Теперь все равно никуда не денешься.

— Балда ты, — сказал Кинтель жалобно. — Спасибо, конечно, только все равно балда. Принес бы уж лучше ко мне домой, зачем в школу-то было переть?

— Я сначала и принес домой! Не такой уж я балда. Но ты уже ушел...

Кинтель виновато поспеел:

— Да. У нас нулевой урок нынче был, биологичка назначила. Расписание кувырком... Ладно,

я весь день буду портфель прижимать к пузу. А из школы пойдем вместе.

К пузу он портфель не прижимал, но на переменах не выпускал из рук. Обычно-то как: бро-сишь где-нибудь в угол или на подоконник и гу-ляй, пока не пришла пора идти в кабинет. Но сейчас Кинтель был словно дипкурьер со сверх-важными документами. Впору приковать ручку портфеля к запястью.

Чувства у Кинтеля были разные. Прежде все-го — радость, что ради него Салазкин пошел на такое дело. И что опять появилась надежда на разгадку письма. Но радость была перемешана с острым опасением. Не дай Бог, если дома у Са-лазкина узнают про это. И влетит ему, конечно, по первое число и (что самое плохое) не подпу-стят его после этого к Кинтелю и на милую. Ма-ма небось на всех переменах будет дежурить в школе. Или, чего доброго, переведут Саньку в другую... И зрело в Кинтеле предчувствие, что добром вся эта история не кончится.

Была даже мысль: отыскать на перемене Са-лазкина и: «Забирай-ка ты этот раритет, Саня, от греха подальше». Но ведь у Сани Денисова кни-га тоже не будет в безопасности. Наоборот, чего доброго, ухватят у растяпистого новичка-пяти-классника сумку, начнут футболивать по коридору или по двору. Или сопрут — бывает и такое...

А Салазкин — то ли боялся быть навязчивым, то ли просто показывал Кинтелю, что полностью доверяет — ни разу не подошел на переменах. Только в окно с третьего этажа Кинтель видел, как Денисов и его одноклассники по-обезьяньи качаются на кленах и турнике, гоняются друг за другом и сражаются рейками, балансируя на бу-ме...

Ох, скорей бы кончились пять уроков...

Четвертым и пятым часами стоял в расписа-нии труд. Преподával его молодой и энергичный Геннадий Романович. В нем не было ничего от привычного образа «трудовика», похожего на за-вхоза или фабричного бригадира. «Геночка» был строен, интеллигентен и вежлив даже с разгиль-дями и балдежниками. «Сударь, ваше разухаби-стое обращение с таким тонким инструментом, как стамеска, может иметь непредсказуемые по-следствия... Весьма сожалею, но если вы не пе-рестанете ковырять вашего соседа напильником, я предоставляю вам свободу действий за преде-лами этого помещения...»

Девчонки болтали, что Геночка пишет стихи и готовит к печати книжку. Диана Осиповна од-нажды высказалась: «Представитель нового по-коления. Весь из себя демократ...»

Он и правда был демократ. И сейчас, в кори-доре перед мастерской, не стал орать и грозить

неудами, увидев на полу свалку семиклассников, решивших малость поразмяться. Он встал над ними и раздумчиво проговорил:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями...

«Кости» поднимались, отряхивались, говорили «здрате» и шли в мастерскую, которую Генна-дий Романович отпер для мальчишек (девчонки ушли на домоводство).

Сумки и портфели полагалось оставлять в тес-ной комнатке, где хранились краски, лаки и за-пасные инструменты. Называлась она почему-то по-военному — «каптерка». Кинтель оставил там портфель с большой неохотой, а потом занял место у крайнего верстака, поближе к полуотк-рытой двери каптерки.

Задание оказалось простым: зачищать шкур-кой ручки для напильников. Ручки эти наточили на токарных станках старшеклассники.

Поднялся ропот:

— Фига ли вручную-то! Можно было сразу на станке зачистить...

— Это специально, чтобы мы, как бабуины, чухались...

— Восьмые-то классы на станках, а мы — до-ски от забора к забору таскать или колупаться без пользы...

Геночка, поглаживая модную шевелюру, кивал и разъяснял доброжелательно:

— На станках начнете работать во второй чет-верти. Есть учебный план, утвержденный нашей уважаемой Зинаидой Тихоновной. Ваше стрем-ление к социальной справедливости похвально, однако система требует разумного программи-рования... А что касается ручного труда, то именно он облагораживает личность, воспитывает в ней гармонию между интеллектом и физическим со-вершенством... Кто зачистит не меньше десяти штук, имеет пятерку в журнале...

— А сколько надо на четверку?.. А на тройку?..

— Четверок и троек не будет. Или пять, или ничего... Левин, почему вы раскручиваете тиски с такой осторожностью, словно они из динами-та?

Последнее выражение дало толчок новому трепу. Нечто вроде конкурса черного юмора. Шурик Хлызов хихикнул, вспомнил:

Говорила бабка внучку Мите:
«Не копайся, Митя, в динамите!»
Не копайся, я кому сказа...»
К потолку приклеились глаза.

Геночка азартно насторожился. Он собирал школьный фольклор.

Юрка Бражников, который всегда спорил, сказал:

— Это старо. Сейчас в таких стихах должна быть связь с современностью. Вот, например:

Дедушка кашлял, окурки кидал.
Дяденька внуку «калашников» дал.
Рады родители: «Тихо и чисто.
Мальчик у нас записался в путчисты».

Кинтель не болтал и почти не слушал. Зажал в руках деревянную ручку и швыркал по ней шкуркой. Не ради пятерки, а просто, когда работаешь, время бежит быстрее.

А народ ревелся:

Дедушка в свете земельной реформы
Грядку копал у вокзальной платформы.
Чавкнул колесами быстрый экспресс:
«Зря ты в политику, дедка, полез...»

Геннадий Романович громко заспорил:

— Нет, друзья, это уже не то! Политическая тема не спасает жанр от вырождения. Когда я учился в институте, перда в таких стихах было больше. Вот, послушайте... — Он встал в позу декламатора, но прочесть не успел.

— Ка-ак тут у вас весело... — Это возникла в дверях Диана. Кокетливо поинтересовалась: — Можно к вам на минуту?

Геночка рассыпался в словесных реверансах, из которых следовало, что присутствие многоуважаемой Дианы Осиповны послужит стимулятором дальнейшего совершенствования этих отроков в ручном труде, который всегда граничит с подлинным творчеством.

— Я как раз насчет ручного труда. Завтрашнего... Всех прошу слушать меня внимательно! Завтра приходим в школу к восьми утра, без портфелей. Одеться потеплее и по-рабочему, желательно взять старые перчатки. Поедем на автобусе... Совхоз «Кадниково» очень просит нас помочь им на картофельных грядках.

— У-у-у!! — такова была первая реакция. Еще не оформленная в организованный протест.

— Что значит «у-у»?! Думаете, учителям больше, чем вам, хочется туда ехать? Срывать программу, комкать занятия?.. Но когда от нас зависит судьба урожая...

— Почему от нас-то? — сказал Шурик Хлызов и дерзко замахал белесыми ресницами.

— От нас -- в том числе! Так же, как от всех горожан! Вы что, с Луны свалились?

— Да уж конечно! На Луне школьников на

картошку не гоняют, — сказал Артем Решетило. — Потому что там социализм не строили...

— Вот и отправляйся учиться на Луну! А пока ты в нашей школе...

— А в нашей школе учителей не хватает! — заявил Юрка Бражников. — Но никто ведь не зовет колхозников английский преподавать!

— Оставь, Бражников, свою демагогию! В колхозах и совхозах не хватает рук! И едут все: инженеры, артисты, ученые, доктора, хирурги...

Тут Кинтеля потянуло на язык. Что с ним такое в эти дни? Как увидит Диану, так хочется все поперек...

— Ага, они, хирурги-то, сперва в земле копаются, а потом этими пальцами в потрохах больных. Аппендиксы ищут...

— А с Рафаловым я вообще дискутировать не намерена! Итак, повторяю: завтра в восемь...

— У меня завтра тренировка в бассейне, — сказал Дима Ивощенко — пловец и призер областного уровня.

— Потерпит твой бассейн!

— Он-то потерпит, а я...

— А картошку ты любишь?

Димка меланхолично разъяснил, что картошку он любит, особенно с укропом и постным маслом. И потому:

— Мы свои шесть соток на участке давно выкопали...

— Ка-ак замечательно! А о других думать не надо? О государстве!

— А государство о нас много думает? — нахально спросил Ленька Бряк. — В кабинетах толки текут и штукатурка на башку валится...

— Вот именно! А совхоз обещал в обмен на помощь дать школе стройматериалы!

— Бартерная сделка, — сказал Решетило. — Живых школьников — на известку и цемент. Это, дети мои, рынок... Лучше бы дали каждому горожанину по участку, чтобы картошка была у всех. А то только обещают...

— Как ты лихо решаешь экономические проблемы!

— А это не я, это академик Тихонов недавно по первой программе выступал.

— Ну, вот когда ты будешь академиком...

— Тогда уже картошки не будет. При таком хозяйствовании...

— Я понимаю, что твой папа — человек политически подкованный и тебя воспитывает соответственно, однако пока ты в школе...

— Я должен учиться, а не на грядках вкалывать вместо картофелекопалки...

— Нет, это надо же!.. Чтобы мы в свое время... Ну, хватит! Это не я придумала! Это распоряжение исполкома!

— А они не имеют права, — подал голос Глеб Ярцев. — Школьников посылать нельзя. И вообще принудительный труд запрещен. Только что «Декларация прав гражданина» в «Молодой смелой» напечатана. Там сказано...

— Статья двадцать третья, последний абзац, — ввернул политически подкованный Решетило.

— Ну какая, какая может быть Декларация, когда стране грозит голод? Го-лод! Вы это понимаете? Критическое положение!.. Да, в стране много беспорядка, но сперва надо спасти урожай, а потом уже думать, как быть дальше...

Кинтель снова не выдержал:

— Это каждый год говорят, с давних пор. И никакого толку. Дед с молодых лет на картошку ездил, отец ездил, сейчас тоже всех гоняют...

— Но ты пока еще ни одного клубня не убрал!.. Впрочем, Рафалову я персонально разрешаю в совхоз не ехать! Раз он такой утомленный. Есть еще... саботажники?

Наступило нехорошее молчание. В этой тишине Бориска Левин осторожно спросил:

— А тем, кто не поедет, завтра приходиться на уроки?

— Это... как понимать? Ты тоже отказываешься?

Бориска объяснил негромко, но безбоязненно:

— Меня просто не отпустят. Сестра недавно из колхоза вернулась, она в отряде пединститута. И сейчас в больнице. Их там двенадцать человек на поле отравились. То ли пестицидами, то ли еще чем-то. Это те, которые сильно. А кто не очень — тех еще больше... Между прочим, недалеко от Кадниково.

— Про это в газете было! — вмешался Ленчик Петраков. — В той самой, где Декларация!

Кинтель тоже вспомнил: дед рассказывал про отравления студентов на полях. Причем не первый год такое. Медики ломают головы: что за болезнь, откуда свалилась? Всякие комиссии шлют. А студенческие отряды с полей благопарзумно сматываются.

— Теперь, значит, нас на место студентов, да? — Кинтель аккуратно отложил зачищенную ручку. — А потом еще говорят, что детей у нас не передают...

Гвалт поднялся:

— Ничего, ребята, будет отбор на выживаемость!

— Да фиг им, меня тоже не отпустят!

— А противогазы в совхозе дадут?

— Это как в Иране! Там пацанов на минные поля впереди солдат пускали!..

— Как в анекдоте: а дустом не пробовали?

— Борька, а с сестрой что?

Бориска сказал:

— Ноги отнимаются. И слабость...

Диана Осиповна возвысила голос до предела:

— Ти-ше! Вы что, с ума сошли?! На те поля, куда вы поедете, выдан санитарный паспорт!

Бориска вдруг крикнул:

— Где сестра была, там тоже такой паспорт был!

— Как вам не стыдно! — Диана полыхала щеками. — Геннадий Романович, хоть вы на них подействуйте! Ведь будущие мужчины!.. Когда я девочкам сообщила, ни одного голоса против!

— Потому как дуры, — разъяснил Решетило. — Или не знают... От таких отравлений могут себе заработать бесплодие...

— Что?! Что-о?! — тонко завопила Диана. — Да ты хоть соображаешь?.. Ты что понимаешь в таких делах?!

— А это не я. Это в «Тревожной студии» профессор мединститута рассказывал...

— Но вам-то, я полагаю, такая опасность не грозит, — ехидно заметила Диана. — Думаю, причина вашего спора гораздо проще, без медицины и политики. Обычная лень... И хотя бы подумали: как вы подведете совхоз. А они там... всегда так замечательно встречают ребят. Говорят, в прошлом году несколько фляг молока прямо в поле привезли — пейте на здоровье!

Глеб Ярцев сказал:

В совхозе городских ребят

Зовут желанными гостями.

О поле, поле, кто тебя

Усеял...

— Хватит! — Диана даже взвизгнула. — Не хотите — не надо! Но каждый... Я подчеркиваю — каждый — пусть заявит об этом персонально!.. Геннадий Романович, портфели у них в той комнате? Отлично! По крайней мере, никто не сбежит! Я сяду там, и пусть заходят по одному. В зависимости от решения делаю запись в дневник... Вы позволите?

Геннадий Романович развел руками: не смею, мол, препятствовать. А на мальчишек посмотрел сочувственно. Кое-кто струхнул. Одно дело — гадать в толпе, другое — подвергаться индивидуальной обработке. Да и дома, прочитавши Дианину запись, могут врезать... Но Артем Решетило поднял над головой ладони, сцепил указательные пальцы: «Держись, парни...»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 65

Владимир
СИБИРЕВ

ЭТЮДЫ

МОИХ

ОДИССЕЙ...

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Чуть у внука над верхней губой
Обозначится первый пушок,
Гордость деда военной судьбою
Вызывает у парня смешок.
Вот и я. Поседел над компасом
И при лощиях,
Но, как debil,
Ни валютою, ни «адидасом»,
Чемоданов своих не набил.
Тускловаты на фоне «видяшки»
Эпизоды моих одиссей...
Так что только среди

первоклашек
И найдешь бескорыстных
друзей.

Я увижу в их чистых глазенках
Интерес к парусам, островам,
Мертвой зыби,
бермудским воронкам,
Наконец, к знакомым

словам.
Сердце скорбное радостью
тронет:

Слава Богу, растет человек,
Нечто ищущий, жаждущий,
Кроме
Рок-ансамблей и видеотек.

ПОСТФАКТУМ

В поражении даже герои
Персональных не требуют прав.
Мы уйдем,
Как уходят изгой —
Без обиды,
Свой бой проиграв.
Говорят, жизнь идет по спирали —
Нынче — ваш,
Завтра — чей-то виток...
Мы уйдем...
Но к о м у проиграли?!
Вот чем страшен
Чреватый итог.

КУСТАРЬ-ОДИНОЧКА

Одиночка. Кустарь без мотора.
Я из тех, для кого никогда
И нигде
Никакая контора
Не улучшит условий труда.
Роль моя для имущих
Ничтожна,
Хоть ее и нельзя упразднить.
Я из тех, чей удел невозможно
Облегчить,
Можно лишь осложнить.

ПОСЛЕДНЯЯ СВЕЧА

Хотя еще горит свеча искусства,
Очерчивая зыбкий контур зла,
Высвечивая в нем и зрак беспутства,
И вероломство в ранге ремесла,
Стараясь отучить от четверенек...
Но тщетно...
Вот уже в который раз,
Гася свечу,
Слепая сила денег
Вновь
На четыре точки
Ставит нас.

КАРАДАГ

Воспетый некогда
Волошиным,
Слывущий чудом голубым,
Он показался мне заброшенным,
От ржавых осыпей
Рябым.
Гляжу, прилежно гида слушая,
Но как ни странно, Карадаг
Воспринимаю просто сушею,
Пригодный разве под маяк...
Но сам-то он,
Клубясь туманами,
В душе, запрятанной в гранит,
Лишь с действующими вулканами
Себя весь век
На равных
Мнит,
Но не беснуется от ревности
К игре их воспаленных жил,
Поскольку с ледниками древности
Всю молодость свою прожил.

АЙ-ТОДОРСКИЙ МИНДАЛЬ

Поддень липок, словно сеть паучья,
В небесах ни птиц, ни облаков.
Ветви, как обугленные крючья,
Стряхивают пену лепестков.
В мрачной скорби,
Прячься от тропинок,
В скальный грунт
Врастает черный ствол.
Говорят, здесь жил когда-то инок,
Что вот так же
Смолоду
Отцвел.

Юрий ГУЩИН

ВЯТСКИЙ ЛОМОНОСОВ



В некоторых деталях жизненный путь Петра Николаевича Луппова напоминает судьбу великого Ломоносова.

Сын сельского псаломщика, он закончил в своем родном селе Усть-Чепецкое трехклассную земскую школу, в Вятке — духовное училище и семинарию (с отличием). Потом учился в Казанской и Московской духовных академиях и наконец в С.-Петербургском историко-археологическом институте. Незаурядные способности и обширные знания позволили ему в 1899 году защитить магистерскую диссертацию, а через 14 лет стать доктором церковной истории. Его оппонентом на защите диссертации выступил известный русский историк В.О.Ключевский. Еще в Московской академии под началом профессора Е.Е.Голубинского он начал собирать материалы о распространении христианства у вотяков. Литературы по теме было мало, и студент зачастил в архивы. С тех пор хранилища первоисточников лежали на пути к каждой его научной работе. Луппов освоил архивы Воткинска, Вятки, Ижевска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Самары, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Так началась карьера ученого. За свою жизнь П.Н.Луппов написал более

250 книг и статей. Их главные темы — история Вятской губернии и Удмуртии, история и культура татар, коми (пермяков), марийцев, бесермян; политическая ссылка в Вятской губернии; краеведческая работа и архивное дело; народное образование. Несколько работ посвящены Ломоносову, Радищеву, Кольцову, Горькому, Герцену, Салтыкову-Щедрину, а В.Г.Короленко — даже десять! Наиболее ценными остаются «Исторический очерк Вятского края», «Архивные материалы по истории пугачевского движения в правобережье Камы», «Удмуртские «доли» в XVII-XVIII веках», «Северные удмурты в XVI-XVII веках», «Прошлое фабрично-заводской промышленности Вотской автономной области», «Материалы о восстании в Башкирии в 1835 году и участие в нем удмуртов». Плодом его шестидесятилетней научной работы стал сборник «Документы по истории Удмуртии XV-XVIII веков», вышедший в свет в 1958 году.

Многое Луппов подписывал псевдонимами: Архивариус, Доброхотов, Лилиев, Один из учителей и др.

Кроме занятий в архивах, другое его увлечение — статистика. Студентом во время летних каникул он познакомился в Нижегородской губернии с писателем В.Г.Короленко и земским статистиком Н.Ф.Анненским. У них учился он вести подворную перепись крестьянских хозяйств. В дальнейшем экспедиции по северным волостям Сарапульского уезда много дали историку, поставили его ближе к крестьянам-удмуртам.

Еще одной областью жизненных и творческих его интересов была школа. Преподавал историю в Петербургской женской гимназии, реальном училище, Вятском пединституте. И везде проявлял себя как личность творческая. Учительствуя в начальной школе, избавил детей от физических наказаний, ввел внеклассное чтение, приобрел на добровольные пожертвования библиотечку в 300 книг. Ездил в Париж организовывать выставку «Детский мир» и получил за нее золотую медаль. Напечатал 70 работ по педагогике.

П.Н.Луппов одним из первых отозвался на призыв В.Г.Короленко отразить в печати все перипетии так называемого Мултанского дела — по обвинении удмуртов в человеческих жертвоприношениях. Он переработал около 700 архивных дел духовного ведомства, гражданских и уголовных документов и ни в одном не обнаружил следов подобных традиций в языче-

ской религии удмуртов. Читал об этом доклады на съездах естествоиспытателей, географов, антропологов, этнографов, опубликовал более двадцати статей, указывая на ложность обвинений, выдвинутых против ни в чем неповинных людей.

Работы историка вызвали интерес В.Г.Короленко. Писатель предложил Луппову участвовать в третьем судебном разбирательстве в качестве эксперта, однако он постеснялся принять лестное предложение. Впрочем, публикации историка были хорошо известны защите старомултанцев и помогли оправданию обвиняемых в ритуальном убийстве удмуртских крестьян.

Позднее на большом фактическом материале он написал брошюру «Громкое дело Мултанских вотяков, обвиненных в человеческих жертвоприношениях (1892-1896)», которая сохраняет свою ценность и по сей день. Кроме того ученый опубликовал «Библиографию по Мултанскому делу», в которой зафиксировано 235 работ.

Петр Николаевич Луппов проявил себя поборником справедливости и настоящим другом удмуртского народа.

г. Глазов

Сергей ПОСТНИКОВ

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ НА УРАЛЕ

Кто они — спецпереселенцы: классовые враги или жертвы системы? Сколько их было? Какова их судьба? К этим вопросам обратились ныне и публицисты, и историки.

Одна из публикаций на эту тему появилась в журнале «Урал» за 1990 год (№ 10) — очерк А.Ничиперевича «Спецпереселенцы».

Автор утверждает, что «по официальным данным... за два года было сожжено с родных мест около миллиона хозяйств, а это значит, как минимум, 4

млн. человек». Действительно, по подсчетам историка-аграрника В. Данилова, за время коллективизации было «раскулачено» 1-1,1 млн. хозяйств, объединивших 4-5 млн. человек. Но не забудем, что раскулачиваемые делились на три категории. Первая — «контрреволюционный актив», участники антисоветских и антиколхозных выступлений. Они сами подлежали аресту и суду, а члены их семей выселялись в отдаленные районы страны. Вторая группа — «крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против коллективизации». Этим выселяли вместе с семьями в отдаленные районы. Наконец третья — «остальная часть кулаков» — расселялась специальными поселками в пределах места своего проживания. По раскулаченным первой и второй категорий (только они отнеслись к спецпереселенцам) есть более или менее точные данные: за 1930-1931 годы было депортировано на Север, Урал, в Сибирь и Казахстан 381 тыс. семей, в 1932 году — около 100 тыс. После инструкции за подписью Сталина и Молотова от 8 мая 1933 года массовых выселений «кулаков» не производилось.

По подсчетам американского историка С. Максудова за весь период депортаций, продолжавшийся с конца 1929-го по май 1933-го, было выслано 543 тыс. бывших «кулацких» семей, а это не менее 2-2,5 млн. человек (но не 4 млн., как утверждает А. Ничиперович).

Куда же направлялись депортированные? Первоначально — главным образом в Северный край (50-55 процентов), на Северный Урал (30) и в Сибирь (15). Но к 1932 году основным «потребителем» труда раскулаченных стал Урал, куда к этому времени было перемещено 130 тыс. семей спецпереселенцев. Далее шли Сибирь — не менее 66 тыс. семей, Казахстан — 45 тыс., Северный Кавказ и Украина — около 18 тыс., Дальний Восток — 10 тыс. и т.д.

Подсчеты С. Максудова почти совпадают со сведениями, которые удалось выявить в фондах Свердловского партархива. К 1 февраля 1932 года на территории Уральской области насчитывалось «приписанных» к промышленности 467.174 спецпереселенца (116.056 семей) и в сельскохозяйственных колониях было занято 16.102 спецпереселенца (4032 семьи). Всего, таким образом, 120.088 семей и 483.276 человек спецпереселенцев. Но к этому времени депортации еще не прекратились. А сколько людей погибло от голода, холода и болезней в 1930-1933 годах?

Как использовался труд спецпереселенцев? Большую их часть отдали в распоряжение промышленных трестов. Из 467.174 переселенцев 36,8 процента были заняты на производстве. Из этого числа работавших 40,5 процента трудились в лесной отрасли, остальные — в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, на стройках, торфоразработках и т.д. К концу первой пятилетки спецпереселенцы составили около 15 процентов всех рабочих региона. Но трудно согласиться с теми, кто считает, что дешевый принудительный труд заключенных и бывших «кулаков» был экономически необходим и выгоден государству. Расходы по выселению, перемещению (нередко за тысячи километров), охране и обустройству раскулаченных едва ли покрывались стоимостью конфискованного у них имущества. Вполне очевидно и то, что насильственное вовлечение в ряды рабочих спецпереселенцев снижало квалификацию рабочего класса. Ведь абсолютное большинство крестьян не имели рабочей профессии, навыков в индустриальной сфере и труд их был малоэффективен. В этом убеждает исторический опыт не только нашей страны. Кроме того: две трети спецпереселенцев составляли «иждивенцы» (больные, старики, женщины) и дети (до 35 процентов общего числа!), которых нельзя было использовать на производстве.

Как спецпереселенцы были размещены на территории Уральского региона? Их расселили по 47 районам области. Наиболее густо — в Надеждинском (Серовском) районе — 85,4 тыс. человек. Далее шли: город Магнитогорск — 40,4 тыс. (треть населения, вот вам и «комсомольская стройка!»), Нижнетуринский район — 27,9, Свердловский — 23,8, Верхотурский — 12, Ивдельский — 11,1 и т.д.

В Пермской области (она выделена из состава Свердловской в 1938 году) бедовало не 60-70 тыс. спецпереселенцев, как указывает А. Ничиперович, а в два раза больше. Нам не удалось найти данных о численности депортированных в Коми-Пермяцкий округ. В других же районах Пермского края в 1932 году насчитывалось: в Кизеловском — 45,4 тыс., Чусовском — 24,9, Чердынском — 18,9, Березниковском — 14,1, Ныробском — 12,5 тыс. человек.

О нечеловеческих условиях труда и быта спецпереселенцев уже немало написано. Показательно, например, решение бюро Челябинского обкома

ВКП(б) от 5 августа 1934 года «О ответственном использовании спецпереселенцев». Бюро вынуждено было констатировать многочисленные факты грубых нарушений трудового законодательства: произвольное удлинение администрацией рабочего дня и повышение норм выработки, непредоставление выходных дней, перебои в снабжении продуктами питания, отсутствие спецодежды и т.п. Обеспеченность жилплощадью в среднем по области одного человека составляла 1,03 кв.м., а в Магнитогорске — 0,61!

Судьба сотен тысяч спецпереселенцев трагична. Многие погибли во время депортации и в период голода 1933 года. Другие стали жертвами сталинского террора в 1936-1938 годах. Но общее число погибших в 30-е годы спецпереселенцев пока не установлено (да и велась ли в те годы подобная статистика?). «Сталинская» Конституция (1936 г.) формально вернула бывшим спецпереселенцам гражданские права. Постепенно из политического и бытового лексикона исчез и сам термин «спецпереселенец». С конца 30-х годов официально их называли «трудпоселенцами». Но все знали, что это — бывшие «кулаки» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сколько же их осталось на Урале к началу 40-х годов? К сожалению, обобщающих сведений по региону у нас нет, данные Управления НКВД по Челябинской области за декабрь 1939 года сообщают, что на территории 9 районов области в 41 трудпоселке проживало 54.657 трудпоселенцев (13.509 семей). Но по числу депортированных Челябинская область намного уступала северным и западным районам Урала. Поэтому косвенные данные позволяют сделать вывод, что накануне войны на Урале оставалось не менее 300-400 тыс. бывших спецпереселенцев. А в 1939-1940 годах начали прибывать беженцы с Запада, потянулись эшелоны с новыми спецпереселенцами — на этот раз из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Западной Белоруссии... Многие страницы этой трагической истории миллионов наших соотечественников еще не написаны. Такая работа только началась в Институте истории и археологии УрО АН СССР.

Владимир САМСОНОВ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Сколько себя помню, всегда ношу с собой записную книжку, которых накопилось за многие годы порядочно. Иногда перебираю их, читаю записи и возвращаюсь в прошлое.

Однажды в одном из блокнотов прочитал: «Великий француз Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить... Нельзя купить чувство, когда летишь. Нельзя купить дружбу друга... Нельзя купить ощущение новизны мира...»

Сделал эту запись много лет назад, читая Экзюпери. О последних днях летчика-писателя говорилось, что он не вернулся после выполнения боевого задания. Пропал без вести. Никто не знает, что же случилось с ним в том последнем полете. С тех пор я собирал все сведения о жизни Экзюпери. Прочитал много книг, в том числе и материалы, собранные обществом друзей Экзюпери, которое было создано во Франции в 1970 году генералом в отставке Гавуалем, другом писателя.

И вот что мне удалось узнать.

...16 мая 1944 года майор Антуан де Сент-Экзюпери возвратился в авиаразведывательную часть 2/33, которая в то время базировалась в Алгеро на острове Сардиния.

Экзюпери начал летать на самолете П-38 американского производства. Этот самолет-разведчик мог подниматься на высоту 12 тыс. метров. Вместо пулеметов он был «вооружен» фотоаппаратурой. Командующий союзнической авиацией на Средиземноморском фронте американский генерал Икес разрешил Экзюпери выполнить пять боевых полетов.

Первый полет 6 июня 1944 года оказался неудачным: загорелся правый двигатель и пришлось совершить посадку сразу же после взлета. Совер-

шив второй полет, Экзюпери доставил пленку с разведанными. Третий был опять неудачным — отказало кислородное оборудование.

29 июня, в день своего рождения, Антуан совершил пятый полет. Задание было выполнено, однако на обратном пути отказал один из моторов, и Сент-Экзюпери совершил вынужденную посадку на острове Корсика. И так, совершены пять боевых полетов, но Экзюпери добывается разрешения еще на три. Из них шестой и седьмой прошли успешно.

17 июля эскадрилья перебазируется в Борго на острове Корсика, а 18 июля Экзюпери поднимается в небо восьмой раз. Роковым для летчика оказался девятый...

«Тогда я был начальником штаба эскадрильи 2/33, — писал Жан Леле, — и Антуан часто навещался ко мне, чтобы я помог ему получить право на скорейший боевой вылет. Я отказывал ему, как будто он был обыкновенным летчиком, как и все мы. Но мы понимали, что потеря Сент-Экзюпери как человека гораздо более страшна, чем потеря его как летчика».

31 июля 1944 года в 8 часов 45 минут самолет П-38 с номером 223 под управлением майора Антуана де Сент-Экзюпери взлетел с аэродрома Борго на острове Корсика для выполнения очередного разведывательного задания. Топлива хватало на шесть часов полета.

...Стрелки показывали 14 часов 45 минут, а самолет Экзюпери не возвращался. Все ждали чуда, но проходили минуты, часы бесплодного ожидания. Тогда и появилась запись в боевом журнале: «Пилот не вернулся, считать пропавшим без вести»

Отставной комендант Ягер де Монтанбан в своей записной книжке в 1944 году сделал такую запись: «Мои родители жили в деревне Био. 31 июля в 12 часов я был со своей матерью, и мы с ней видели самолет, который летел очень низко. Мы видели летчика, он был одет в темный костюм. У самолета было два двигателя и двойное хвостовое оперение, дополнительных топливных баков не было».

Другой свидетель Зеузореда, которому в 1944 году было восемь лет, жил с родителями в километре от деревни Био, 31 июля в полдень он пошел за питьевой водой и увидел над морем на низкой высоте три самолета, один из которых упал в море недалеко от берега.

В журнале «Нувель» № 18 за 1973

год появилась статья немецкого коменданта Леопольда Блюма. Он писал: «Был конец июля 1944 года. Я командовал ротой ПВО в секторе от Вильфранше до Монте-Карло. Я находился на вилле в местечке, которое называлось «Собачья голова». Раненный, я поставил свою кровать на веранду. У меня была подзорная труба. В этот день я увидел три самолета, которые направлялись в сторону Монте-Карло. Они шли на бреющем полете, почти у самых волн. Двое, которые были над третьим, заставили его снижаться до поверхности моря. Затем два самолета быстро набрали высоту и ушли».

Сюда же следует присовокупить заявление Германа Корта, бывшего летчика, а затем офицера штаба фашистского воздушного флота, базировавшегося в северной Италии. Он получил поздно ночью 31 июля от капитана из штаба 2-й авиадивизии, базировавшейся в Авиньоне, телефонограмму, которую занес в свою записную книжку: «Сбит разведчик, сгоревший над морем».

Германский авиационный журнал «Ландзер» опубликовал рапорт немецкого летчика Роберта Хейшеля, сбившего самолет П-38 № 223 в 12 часов 05 минут 31 июля 1944 года над морем. Через несколько дней Роберт Хейшель сам погиб в воздушном бою.

Итак, можно сделать однозначный вывод: самолет, пилотируемый Антуаном де Сент-Экзюпери, был сбит гитлеровским истребителем «фокке-вульф», пилотируемым Робертом Хейшелем. Известно, что 31 июля только один самолет типа П-38 вылетал на разведку.

Деревня Био находится на пути трассы полета в Борго на Корсике. Антуан де Сент-Экзюпери, атакуемый двумя истребителями, сбросил дополнительные топливные баки и на большой скорости шел к берегу. Он хорошо знал эту местность. Его мать жила в Кабри, а сестра — в Агее. Он пролетел недалеко от Био в направлении к заливу Ангелов, но два истребителя все же настигли его, заставляя снизиться до предела, а потому радиолокаторы на Корсике не смогли обнаружить их.

Так погиб французский летчик, патриот и гуманист.

г. Екатеринбург

Джин ВУЛЬФ

Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К А Я П О В Е С Т Ь

ПЯТАЯ ГОЛОВА



ЦЕРЬБЕРА

Когда я был маленьким, нас с братом Дэвидом укладывали спать независимо от того, хотим мы этого или нет. Часто, особенно летом, приходилось отправляться в постель еще до захода солнца. Наша спальня находилась в восточном крыле дома и большим окном выходила на главный двор, то есть на запад. Резкий розоватый свет сочился сквозь окно часами, и мы лежали, глядя на искаленную обезьяну отца, сидевшую на пери-

лах, или тихонько рассказывали друг другу разные истории.

Спальня была на верхнем этаже дома, а окно закрывала решетка из перекрученных прутьев, которую нам не позволяли открывать. Думаю, этот запрет основывался на предположении, что какой-нибудь вор мог однажды спустить с крыши веревку и таким образом добраться до нашей комнаты. Целью этого мифического, невероятно

храброго вора вряд ли могла быть простая кража. Дети были необычайно дешевы в Порт-Мимизо-не — мне даже говорили, что мой отец, когда-то торговавший ими, бросил это дело из-за ничтожной прибыли. Правда это или нет, но почти каждый знал профессионала, который мог доставить ребенка по заказу и по низкой цене, конечно, в разумных пределах.

Скорее всего мнимый вор не захотел бы дер-жать нас и ради выкупа, хотя отец в весьма узком кругу считался невероятно богатым. Небольшая группа людей, знавших о нашем существовании, знала и о том (по крайней мере, им дали это понять), что для отца мы безразличны. Затрудняюсь сказать, было ли это правдой. Во всяком случае, я в это верил, а отец не давал никаких оснований усомниться в этом, хотя, признаюсь, в те времена у меня никогда не возникало мысли убить его.

Каждый в том обществе, где отец слыл, пожалуй, человеком с наиболее прочным положением, понимал, что из-за выплат больших взяток тайной полицией лишение денег означало бы для него полный крах. Может, именно потому, а также из-за страха, в котором он жил, нас ни разу не украл.

Решетка на окне выкована (я пишу эти слова в своей бывшей спальне) в виде ветвей вербы, хотя она слишком массивна и симметрична, чтобы верно передать их узор. Когда я был маленьким, ее покрывал плющ (потом его выкорчевали), поднимавшийся по стене со двора. Я хотел, чтобы он полностью закрыл окно и заслонял солнце, когда мы ложились спать, однако Дэвид постоянно обламывал ветки, чтобы делать свистульки, и обычно сооружал что-то вроде свирели Пана из трех или четырех пищалок. Постепенно его игра становилась все громче и через некоторое время, разумеется, привлекала нашего учителя, Мистера Миллиона. Он являлся в нашу комнату в полной тишине, его широкие колеса скользили по неровному полу, а Дэвид делал вид, что спит. Свирель к тому времени была уже спрятана под подушкой, в одеяле или даже под матрасом, но Мистер Миллион всегда находил ее.

До вчерашнего дня я не мог вспомнить, что он делал с этими маленькими инструментами после их обнаружения, хотя в тюрьме, когда мы не могли выйти на работу из-за бури или метели, часто убивал время, пытаясь это представить. Ломал или выкидывал через решетку во двор? Нет, это совершенно противоречило его характеру. Мистер Миллион никогда ничего сознательно не уничтожал. Я отлично помнил печальное выражение, с каким он доставал маленькие дудки из тайника (лицо его, казалось, висело за экраном и очень напоминало лицо моего отца), а также, как он поворачивался и выезжал из комнаты. Но что происходило с ними потом?

Как уже говорил, я вспомнил это (что добави-

ло мне уверенности в себе). Он разговаривал со мной здесь, во время работы, а когда выходил, взгляд мой лениво следовал за его плавными движениями, и мне показалось, что не хватает чего-то вроде маха рукой, который я запомнил с детских лет. Закрыв глаза, я попытался восстанавить, как это точно выглядело, и, наконец, вспомнил, что отсутствующим элементом был короткий блеск металла над головой Мистера Миллиона.

Ясно было, что причиной тому являлось быстрое движение рукой вверх, как при отдаче салюта. Более часа я не мог понять этого движения. Я попытался вспомнить, не было ли в коридоре возле нашей спальни какой-нибудь занавески или шторы, устройства, которое можно было бы включить, или чего-то другого, вызывавшего это движение. Ничего подобного не было. Выйдя в коридор, я старательно осмотрел пол, ища следы от мебели, исследовал крючки или гвозди в стенах, отбрасывая старые, жесткие обои. Примерно через час я начал разглядывать саму дверь и тут заметил то, чего не видел, проходя через нее тысячи раз. Как и все двери старого дома, она имела массивную коробку из деревянных брусьев, и один из них — верхний — выступал из стены, образуя над дверью узенькую полочку. Я вытащил в коридор стул и встал на него. Полочку покрывал толстый слой пыли, в котором лежали 47 свирелей моего брата и великолепное собрание других мелких предметов. Многие из них я помнил, но иные до сих пор не нашли отклика в моей памяти.

Например, небольшое желтое в коричневую крапинку яйцо. Вероятно, птичка свила гнездо среди плюща за нашим окном, а мы его ограбили, чтобы нас в свою очередь ограбил Мистер Миллион... Однако ничего подобного я не помню.

Или ключ, один из больших разукрашенных ключей, которые продавали каждый год. Их обладатель мог входить в некоторые залы городской библиотеки после его закрытия. Вероятно, Мистер Миллион конфисковал ключ, заметив, что мы начали использовать его для игры, когда, спустя год, он потерял свою силу?

У отца была собственная библиотека, которая сейчас принадлежит мне, но детьми мы не могли туда входить. Смутно помню, как стоял однажды перед ее огромной резной дверью. Дверь открылась, и я увидел искаленную обезьянку, сидящую на плече отца и жмущуюся к его лицу. Отец был в черном фартуке, из-под которого выглядывал пурпурный халат. За его спиной виднелось множество рядов потрепанных книжек и блокнотов, а из лаборатории за откидным зеркалом тянуло тошновато-сладким запахом формальдегида.

Не помню, сказал ли он что-то, как и того, сам ли постучал или это сделал кто-то другой. Но когда дверь закрылась, надо мной склонилась

женщина в розовом, выглядевшая очень красиво. Она заверила меня, что отец сам написал все книги, которые я видел, и я нисколько в этом не усомнился.

Ни мне, ни брату не разрешалось входить в эту комнату. Когда мы подросли, Мистер Миллион водил нас два раза в неделю в городскую библиотеку. Это была почти единственная возможность покинуть дом; поскольку же наш учитель не любил сгибать своих металлических конечностей в наемном экипаже, а паланкин не выдержал бы его веса, да и просто не вместил бы его, походы эти совершались пешком.

Долгое время мое знание города ограничивалось дорогой до библиотеки. Триста метров вдоль улицы Салтимбанк, на которой стоял наш дом, потом направо по Рю д'Астикко до невольничьего рынка и еще сто метров до библиотеки. Ребенок не делает различий между необычным и широко распространенным, внимание его концентрируется где-то посредине, и он интересуется событиями, которых взрослые вообще не замечают, а на самые невероятные происшествия реагирует абсолютно невозмутимо. Нас с братом восхищали фальшивые древности и распродажа по сниженным ценам на Рю д'Астикко, но зато мы ужасно скучали, когда Мистер Миллион настаивал на остановке у невольничьего рынка.

Рынок был невелик, поскольку Порт-Мимизон никогда не был крупным центром подобной торговли. Аукционисты часто бывали в очень хороших отношениях с предметами торгов, поскольку встречались с ними по нескольку раз подряд, по мере того, как очередные хозяева обнаруживали их недостатки. Мистер Миллион никогда не приценивался, он только смотрел на торги, а мы тем временем переминались с ноги на ногу и жевали поджаренный хлеб, который он покупал нам в киоске. Там были носильщики паланкинов, с ногами, покрытыми узлами мышц, и глуповато улыбающиеся банзики, были закованные в цепи гладиаторы с глазами, затуманенными наркотиками или горящими дикостью, были повара, лакеи и сотни прочих... Мы с Дэвидом упрашивали Мистера Миллиона позволить нам пойти в библиотеку самим — и в результате двигались все вместе.

Библиотека была расточительно большим зданием. В прежние времена, когда был распространен французский язык, здесь размещались правительственные учреждения. Парк, некогда окружавший здание, пал жертвой мелких злоупотреблений, и теперь библиотека возвышалась среди множества магазинчиков и жилых домов. К входной двери вела узкая дорога. Когда ты входил туда, убожество окружения уступало место чему-то вроде шелушащегося великолепия. Библиотекари находились точно под куполом, вознесенным на 500 футов, и со всех сторон были окружены спиральными дорожками, вдоль которых раз-

мещались основные собрания библиотеки. Все вместе это создавало каменное небо, малейший обломок которого мог убить на месте любого библиотекаря.

Пока Мистер Миллион величественно поднимался вверх, просматривая по пути книгу, мы с Дэвидом убегали вперед за несколько поворотов и могли делать все, что нам хотелось. Когда я был совсем маленьким, мне часто приходило в голову, что, поскольку (по словам женщины в розовом) отец написал полную комнату книг, некоторые из них должны быть здесь. Я смело поднимался почти до самого купола и искал там.

Библиотекари весьма свободно относились к упорядочиванию книг на полках, поэтому всегда имелась возможность найти то, чего прежде не видел. Полки поднимались высоко над моей головой, но если я чувствовал, что на меня никто не смотрит, то карабкался по ним, как по лестницам. Когда на полке не было места, чтобы поставить кончик моих коричневых ботинок, я становился на книги. Время от времени некоторые из них падали вниз и лежали там до нашего следующего визита и даже еще дольше, что говорило о том, как неохотно работники библиотеки поднимались на самый верх. Там царил больший беспорядок, чем на полках, доступ к которым был проще.

Однажды я покорил самую верхнюю полку всей библиотеки и обнаружил, что это возвышенное запыленное место, помимо текста по астронавтике «Космический корабль в милю длиной» какого-то немца, содержит лишь одинокий том «Понедельника или Вторника», опирающийся на книгу об убийстве Троцкого, и рассыпающийся сборник рассказов Вернона Винджа.

Я так и не нашел ни одной книги отца, однако не жалел о долгих подъемах к куполу. Если Дэвид был со мной, мы бегали вместе по наклонному полу — вверх и вниз — или наблюдали за медленным движением Мистера Миллиона, обсуждая вероятность уничтожения его одним броском какого-нибудь тяжелого тома. Дэвид обычно предпочитал копаться среди интересующих его книг где-нибудь пониже, а я поднимался на самый верх, так что купол оказывался над самой моей головой. По периметру заржавевшей платформы, чуть более широкой, чем полки, на которые я карабкался, располагался круг небольших отверстий. Железная стена, в которой их проделали, была настолько тонка, что, отодвинув ржавые плиты, закрывавшие отверстия, я мог высунуть голову и почувствовать себя снаружи, а ветер, кружащиеся птицы и огромный серый купол оказывались подо мной.

На западе я видел наш дом, выделяющийся среди остальных своей высотой и апельсиновыми деревьями на крыше. На юге виднелись мачты кораблей в порту, а при хорошей погоде и подходящем времени дня — белые гривы прилива или

отлива между полуостровами, вызванного притяжением Св. Анны. Отлично помню, что однажды, глядя на юг, я увидел большой гейзер освещенной солнцем воды, поднятый садящимся звездолетом. На востоке и западе расстился центр города с цитаделью и большим рынком, а дальше виднелись леса и горы.

Однако рано или поздно, независимо от того, был ли Дэвид со мной или уходил куда-то один, нас звал к себе Мистер Миллион. Тогда приходилось идти за ним в одно из крыльев здания, чтобы осмотреть какую-нибудь научную коллекцию. Отец требовал, чтобы мы детально изучили биологию и химию, и под руководством Мистера Миллиона это действительно удавалось. Он никогда не считал тему изученной, если мы не могли свободно дискутировать по всем вопросам, упомянутым в любой книге, имевшейся в библиотеке по данному разделу. Моим любимым предметом была биология, а Дэвид предпочитал языки, литературу и право. Мы штудировали все эти предметы, а кроме того, изучали антропологию, кибернетику и психологию.

Когда Мистер Миллион выбирал, наконец, основные книги на несколько следующих дней, мы пересходили в какой-нибудь укромный уголок научного читального зала, где стояли стол, стулья и было достаточно места, чтобы он мог прислониться к полке, оставляя свободным проход. Прежде чем официально начать занятия, он проверяет присутствующих. «Здесь», — отвечаю я, показывая, что готов. Дэвид тоже выкрикивает «здесь», а на коленях держит иллюстрированное издание «Рассказов об Одиссее». Мистер Миллион не может их там заметить, а Дэвид смотрит на него, изображая внимание и интерес. Лучи солнца косо падают на стол из высокого окна и освещают плавающую в воздухе пыль.

— Интересно, заметил ли кто из вас каменные орудия в зале, где мы только что были?

Мы утвердительно киваем, и каждый надеется, что ответит другой.

— Они сделаны на Земле или здесь, на нашей планете?

Вопрос коварный, но легкий. Дэвид говорит:

— Ни то, ни другое. Они пластиковые.

Мы смеемся.

— Да, это пластиковые копии, но где сделаны? — терпеливо спрашивает Мистер Миллион.

Лицо его очень похоже на лицо нашего отца. В то время я считал, будто оно принадлежало исключительно учителю, и мне казалось ужасным насильем над природой, что, кроме экрана, я видел его также у живого человека. Лицо это не выражало ни печали, ни скуки, оно было холодным и далским.

— На Святой Анне, — отвечает Дэвид. Святая Анна — это наше соседняя планета. Вращаясь вокруг солнца, обе они тяготеют к общему центру тяжести. — Так сказано в надписи. Их сделали туземцы, а здесь туземцев не было.

Мистер Миллион подтверждает и поворачивает свое странное лицо в мою сторону.

— Ты считаешь, что эти каменные орудия играли важную роль в жизни их создателей? Скажи «нет».

— Нет.

— Почему?

Я лихорадочно думаю. Дэвид не помогает мне, только пинает под столом. Наконец меня осеняет.

— Это очевидно. — Обычно хорошо начинать так, если не уверен в своем ответе. — Во-первых, эти орудия нельзя признать хорошими, как же туземцы могли на них рассчитывать? Можно сказать, что им нужны были такие наконечники из обсидиана для стрел, или костяные крючки для удочек, чтобы ловить рыбу, но это неправда. Они могли отравить воду соком некоторых растений, а вообще-то примитивные люди лучше всего ловят рыбу с помощью запруд или сетей из невыделанных шкур или растительных волокон. Точно так же устройство засад на зверей или отпугивание их огнем более производительны, чем охота. Каменные орудия, которые мы видели, вообще не могли пригодиться для сбора ягод или съедобных побегов, предположительно составлявших их основную пищу. Вещи, которые мы видели в стеклянных витринах, находящихся там потому, что ловушки и сети сгнили и остались только они, поэтому люди, зарабатывающие этим себе на хлеб, считают, что они были очень нужны.

— Хорошо, Дэвид, пожалуйста, будь оригинален. Не повторяй того, что только что услышал.

Дэвид поднимает голову от книги, его голубые глаза выражают презрение к нам обоим.

— Если бы можно было их спросить, они ответили бы, что самым важным была их магия и религия, песни, которые они пели, и традиции их предков. Они убивали жертвенных животных с помощью морских раковин, острых, как бритва; не позволяли своим мужчинам иметь детей, пока те не могли вынести такого сильного огня, который калечил их на всю жизнь; женились на деревьях и топили своих детей, чтобы выразить уважение рекам. Вот что было важно в их жизни.

Мистер Миллион кивает лишенной шеи головой.

— А теперь обсудим человечность аборигенов. Дэвид первый, отвечает отрицательно.

— Человечность, — говорит Дэвид своим самым неприятным тоном, — в истории человеческой мысли проще всего определить как происхождение от Адама, то есть от исходного земного рода. Если вы двое этого не видите, значит, вы идиоты.

Я жду продолжения, но он уже закончил. Желая выиграть время для обдумывания, я говорю:

— Мистер Миллион, скажите ему, что ругательства в дискуссии ни к чему. Это уже не дискуссия, а перебранка.

— Без личных намеков, — говорит Мистер Миллион.

Дэвид уже разглядывает Циклопа Полифема и Одиссея, надеясь, что я буду говорить долго. Это явно вызов, и я принимаю его.

— Аргумент, что самое важное — происхождение от рода земного, не оправдан и ничего не решает, поскольку существует реальная возможность, что аборигены Святой Анны являются потомками ранней волны эмигрантов с Земли — возможно, предшествовавшей даже грекам эпохи Гомера.

— На этом месте я ограничился бы более правдоподобными аргументами, — мягко говорит Мистер Миллион.

Несмотря на это, я продолжаю рассуждать об этрусках, Атлантиде, о неуступчивости и тенденции к экспансии гипотетической технологической культуры Гондваны. Когда я заканчиваю, Мистер Миллион говорит:

— А теперь наоборот. Дэвид, отвечай утвердительно. И не повторяйся.

Мой брат, конечно, читал книгу вместо того, чтобы слушать. Я радостно пинаю его, надеясь, что он попался, но он говорит:

— Аборигены были людьми, потому что вымерли.

— Поясни это.

— Если бы они жили, было бы опасно позволить им быть людьми, поскольку мы хотели бы тогда разного. А раз они вымерли, интереснее утверждать, что они были людьми, а новые поселенцы всех перебили.

И так далее... Когда солнечный луч перемещался на другую сторону красного с черными пятнами стола, как делал это уже сотни раз, мы выходили через одну из боковых дверей и шли запущенным двором между двумя крыльями здания. Там валялись пустые бутылки и разбросанные ветром бумаги. Однажды мы наткнулись на мертвого человека в лохмотьях и перепрыгнули через его ноги, а Мистер Миллион объехал его по кругу. Когда мы выходили на узкую улочку, трубач гарнизона, размещенного в крепости (его было слышно даже с такого расстояния), созывал кавалеристов на ужин в казино. На улице д'Астикко уже зажигали фонари, а магазины были закрыты и железные решетки опущены. Как по волшебству исчезала с тротуаров старая мебель, и улицы казались теперь широкими и голыми.

Наша улица, Салтимбанк, выглядела совершенно иначе. Собирались первые любители повеселиться. Седоволосые, упитанные господа сопровождали молодых мужчин и мальчиков, красивых и мускулистых, но чуточку раскормленных, а также юношей, которые несмело шутили и улыбались им, показывая безупречные белые зубы. Это всегда были самые ранние гости. Когда я подрос, то порой задумывался, приходили они так рано только потому, что старшие хотели по-

лучить удовольствие и хорошо выспаться, или же они знали, что молодые мужчины, которых вводили в дом моего отца, после полуночи будут сонными и раздраженными, как дети, которых вечером слишком поздно уложили спать.

Мистер Миллион не позволял нам бродить в темноте по боковым аллеям, и мы входили через главный вход вместе со стариками, их племянниками и сыновьями. У той части здания, где не было окон, был устроен небольшой садик, кончавшийся уступом стены. Там росли пучки папоротника и находились: небольшой фонтан, вода которого постоянно звенела, падая на стеклянные прутья, а также железная статуя собаки с тремя головами и ногами, почти закованными во мху.

Этой статуе наш дом был обязан своим названием — *Maison du Chien* — хотя оно могло происходить и от нашей фамилии. Головы были мощные, слегка прилизанные, с острыми мордами и ушами. Одна из них рычала, вторая, центральная, смотрела на мир, слагающийся из садика и улицы, с выражением спокойного интереса, а третья, самая ближняя к выложенной булыжником дорожке, ведущей к нашей двери, просто улыбалась. Проходившие по дорожке клиенты отца имели обыкновение похлопывать тростью голову между ушей, и пальцы их так отполировали это место, что оно казалось черным стеклом.

Вот так выглядел мой мир, когда мне было семь лет, а может, и еще полгода. Большинство дней я проводил в маленьком классе, где царил Мистер Миллион, и в спальне, где мы с Дэвидом играли. Разнообразие вносили походы в библиотеку, о которых я уже писал, и очень редко что-то другое. Время от времени я раздвигал беги плюща, чтобы взглянуть на появлявшихся во дворе девиц и их опекунов, а также прислушивался к разговорам, однако то, что они делали и о чем говорили, интересовало меня мало. Я знал, что высокий мужчина с узким лицом, управляющий нашим домом, которого девушки и прислуга называли «Мэтр», был моим отцом. Помню, существовала где-то еще ужасная женщина, по имени «Мадам», перед которой дрожала прислуга. Однако она не была матерью ни мне, ни Дэвиду, как не была и женой моему отцу. Такая жизнь, а вместе с тем и детство, по крайней мере раннее, кончились однажды вечером, когда мы с Дэвидом уснули, устав от игры и тихих споров. Я проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо и что-то говорил. Это оказалась не Мистер Миллион, а один из слуг, сторбленный человечек в потертом красном пиджаке.

— Он тебя зовет, — сообщил он. — Вставай.

Когда я встал, человечек заметил, что я в пиджаке. Думаю, этот вопрос не упоминался в инструкции, потому что он ненадолго задумался. Я тем временем стоял и зевал.

— Оденься и причешись, — сказал он наконец.

Я повиновался, надел черные вельветовые

брюки, которые носил днем, и (ведомый каким-то инстинктом) свежую рубашку. Комната, в которую он меня привел (извилистыми коридорами и закоулками, в которые никогда не впускали клиентов — затхлыми и полными крысиного помета), оказалась библиотекой отца. Именно перед этой комнатой с большой резной дверью женщина в розовом поведала мне о тайне моего отца. Я никогда не был внутри, однако сейчас мой проводник тихо постучал, дверь открылась, и я вошел. Все произошло так быстро, что я едва успел понять, что к чему. Дверь мне открыл отец, и он же потом закрыл ее за моей спиной. Оставив меня там, где я стоял, он прошел в дальний конец длинной комнаты и тяжело уселся на огромный стул. Одет он был в красный халат и черный фартук, в которых я чаще всего видел его. Длинные редкие волосы зачесаны назад.

Отец внимательно разглядывал меня, а мои губы дрожали от сдерживаемых рыданий.

— Ну что же, — сказал он после долгой паузы, — ты пришел. Как мне тебя называть?

Я сказал ему свое имя, но он покачал головой.

— Нет, для меня ты должен иметь другое, личное имя. Если хочешь, можешь сам его выбрать.

Я молчал. Мне казалось совершенно невозможным иметь какое-то другое имя, кроме тех двух слов, которые были им, поскольку я уважал их буквально мистически, не понимая, почему так происходит.

— Тогда я выберу за тебя, — сказал отец. — Ты будешь Номером Пятым. Подойди, Номер Пятый.

Я подошел, и, когда оказался перед ним, он сказал:

— Теперь сыграем. Я покажу тебе несколько картинок, понял? Все время, пока ты будешь их видеть, ты должен говорить о них. Если будешь говорить, выиграешь, но если остановишься хоть на секунду, выиграю я. Понял?

Я ответил: да.

— Хорошо. Я знаю, ты парень смысленый. Мистер Миллион присылает мне все работы, которые вы пишете, и ленты, которые записывают во время разговоров с вами. Ты знал об этом? Тебя интересовало, что он с ними делает?

— Я думал, он их выбрасывает.

Когда я говорил, отец наклонился вперед, и это польстило мне.

— Нет, они здесь. У меня.

Он нажал кнопку.

— Так помни, нельзя прекращать говорить.

Несколько первых секунд я был слишком заинтересован, чтобы говорить.

В комнате, как по волшебству, появился мальчик гораздо младше меня и раскрашенный деревянный солдатик, почти такого же роста. Я хотел коснуться их, но они оказались бесплотными, точно воздух.

— Скажи что-нибудь, — напомнил отец. — О чем ты думаешь, Номер Пятый?

Разумеется, я думал о солдатике — как и этот маленький мальчик, которому было года три. Слово облако, прошел он сквозь мою руку и попытался опрокинуть солдатика.

Это были голограммы — трехмерные изображения, образованные интерференцией двух фронтов световых волн. Когда я разглядывал их в книге по физике, на плоских иллюстрациях, изображающих шахматные фигуры, они казались малопривлекательными. Прошло однако какое-то время, прежде чем я связал шахматные фигуры с духами, бродившими ночью по библиотеке моего отца. Отец все повторял:

— Говори же! Скажи что-нибудь. О чем, по-твоему, думает этот мальчик?

— Мальчику нравится большой солдат, но он хочет его повалить, потому что солдат все-таки просто игрушка, хотя и почти такой же большой, как мальчик...

Я говорил так долго, может, целые часы. Сцена постоянно менялась. Солдата сменяли пони, кролик, тарелка супа и крекеры, однако трехлетний мальчик оставался главным действующим лицом. Когда сторбленный слуга в потертом пиджаке, зевая, пришел, чтобы отвести меня обратно, я говорил хриплым шепотом и у меня болело горло. В ту ночь мне снился маленький мальчик, делающий то одно, то другое. Его личность была странно перемешана с моей собственной и с личностью моего отца, так что я был одновременно наблюдателем, наблюдаемым и третьим человеком, следящим за первыми двумя.

На следующую ночь я заснул сразу после того, как Мистер Миллион отправил нас в постель. Проснулся я, когда в комнату вошел сторбленный слуга, однако на этот раз он поднял не меня, а Дэвида. Я сделал вид, что сплю, решив, что иначе он заберет нас обоих. Когда брат вернулся, я спал каменным сном, поэтому не мог поговорить с ним до тех пор, пока, как это иногда случалось, Мистер Миллион не оставил нас одних за завтраком. Я рассказал ему, что случилось со мной, а он ответил, что провел ночь точно так же. Он видел голограммы, вероятно, те же самые — деревянного солдата, пони — и должен был говорить не останавливаясь, как часто требовал Мистер Миллион в дискуссиях во время устных экзаменов. Единственное различие между его и моим посещением отца обнаружилось, когда я спросил, как отец называл его.

Он взглянул на меня ничего не понимающим взглядом, кусок торта остановился на полпути к его рту.

Я спросил снова:

— Как он обращался к тебе, когда разговаривал?

— Дэвид. А ты что подумал?

Одновременно с началом встреч с отцом изменился ритм моей жизни. Распорядок, который я считал временным, незаметно стал постоянным.

Наша жизнь изменилась, хотя ни Дэвид, ни я не отдавали себе в этом отчета. Кончились игры и рассказы, которые скрашивали нам время перед сном. Дэвид все реже мастерил из плюща свирели, Мистер Миллион разрешал нам спать подольше, и постепенно нас начали считать более взрослыми. Кроме того, примерно в это же время Мистер Миллион начал водить нас в парк, где было стрельбище для лучников и различные игровые устройства. Этот небольшой парк находился недалеко от нашего дома, с одной стороны его ограничивал канал. Пока Дэвид стрелял из лука в набитых соломой гусей или играл в теннис, я часто сидел, вглядываясь в спокойную чуть грязноватую воду, ожидая какой-нибудь из огромных белых кораблей с носами, похожими на клювы зимородков, и четырьмя, пятью или даже семью мачтами. Время от времени, хоть и очень редко, их протаскивали на буксире из порта, используя для этого десять или двенадцать упряжек волов.

Летом, на одиннадцатом или двенадцатом году жизни — пожалуй, все-таки на двенадцатом — нам впервые позволили остаться в парке после захода солнца. Мы устроились на высоком, поросшем травой берегу канала, чтобы посмотреть фейерверк. Едва закончился первый, вступительный пролет ракет в полумиле над городом, Дэвиду стало плохо. Подбежав к реке, он наклонился над водой, и его вырвало. При этом он по локоть замочил руки. Тем временем красные и белые звезды во всем великолепии выпали над нами. Когда Дэвид закончил, Мистер Миллион взял его на руки, и мы направились к выходу.

Болезнь задержалась не дольше испорченного бутерброда, вызвавшего ее. Когда наш учитель укладывал Дэвида в постель, я решил, что не дам отнять у себя окончание зрелища, часть которого мы видели между крышами по пути домой. Мне не разрешалось в темноте выходить на крышу, однако я хорошо знал, где находится ближайшая лестница. Возбуждение, которое я испытывал, вступая в запретный мир листьев и теней, увенчанный пурпурными, желтыми и ярко-красными цветами огня, было как горячка. Я с трудом хватал ртом воздух и дрожал от холода посреди лета.

На крыше оказалось гораздо больше людей, чем я ожидал. Мужчины были без плащей, шляп и тростей (все это осталось в гардеробе моего отца), а девушки, нанятые отцом, носили странные наряды. У одних розовые груди были заключены в сеточки из гибкого провода, похожие на клетки для птиц, другие выглядели очень высокими, что оказывалось иллюзией и выяснялось, лишь когда кто-то становился рядом с ними. Часть девушек носила костюмы, у которых юбки отражали их лица и груди — как вода отражает растущие поблизости деревья. В прерывистых вспышках фейерверка они казались королевами из удивительной колоды карт.

Конечно, меня заметили, поскольку я был

слишком возбужден, чтобы хорошо спрятаться, однако не прогнали. Вероятно, подумали, что мне разрешили посмотреть фейерверк.

Продолжалось это долго. Помню, один из за-всегдатаев, полный мужчина с квадратным глуповатым лицом, казавшийся важной особой, очень хотел воспользоваться благосклонностью своей протезе, но та ни за что не соглашалась идти домой до окончания фейерверка. Поскольку им срочно требовалось укромное местечко, поставили 20 или 30 небольших кустиков и деревьев, создав вокруг них мини-рошу. Я помогал официантам носить ящики и горшки, а когда мы закончили, мне удалось спрятаться в новообразованных зарослях. Отсюда я мог следить и за взрывающимися ракетами, и за мужчиной с его нимфой, смотревшей на фейерверк с гораздо большим интересом, чем я.

Насколько я помню, мною руководила не чувственность, а обычное любопытство. Я был в возрасте, характеризуемом широкими интересами, единственной целью которых было познание. Когда я уже почти успокоил свою жажду знаний, кто-то схватил меня сзади за рубашку и вытащил из зарослей.

Я повернулся, думая, что это Мистер Миллион, однако увидел не его. Меня поймала невысокая седая женщина в черном платье. Даже в столь напряженную минуту я сразу заметил, что от талии ее юбка безвольно спускается до земли. Кажется я, поклонился ей, потому что с первого взгляда было ясно, что это не служанка, но она не ответила. Женщина смотрела мне в лицо с такой сосредоточенностью, что я подумал: она видит между вспышками так же хорошо, как при их свете. Наконец, вероятно, в самом конце, огромная, как река огня, ракета с грохотом взлетела вверх. Седоволосая дама подняла голову, а когда ракета взорвалась, образовав бледно-фиолетовую орхидею сказочных размеров и яркости, снова схватила меня и энергично повела к лестнице.

Пока мы шли по каменной крыше, я заметил, что она, собственно говоря, не идет, а как бы скользит по поверхности, словно шахматная фигура по отполированной доске. Несмотря на все происшедшее с тех пор, такой я ее и помню — как Черную Королеву, шахматную фигуру, которая ни хороша, ни плоха, а черная лишь для отличия от какой-то Белой Королевы, которую мне никогда не дано было узнать.

Когда же мы добрались до лестницы, гладкое скольжение сменилось подскокиванием. Верхняя часть ее тела казалась небольшой лодочкой, преодолевающей водопад — она то ускользалась, то тормозила, то почти отступала под напором водоворота.

Равновесие на ступенях она сохраняла, опираясь с одной стороны на меня, а с другой на служанку, ждавшую нас у лестницы. Когда мы пере-

секали сад на крыше, я подумал, что ее скольжение вызвано лишь прекрасно поставленной походкой и хорошей осанкой, но теперь понял, что у нее есть какой-то дефект. Думаю, без нашей помощи она свалилась бы с лестницы.

Когда мы одолели все ступени, она вновь заскользила, как и прежде. Кивком головы дама отослала служанку и повела меня в сторону, противоположную классу и спальне. Вскоре мы добрались до очень крутой и редко используемой лестницы, уходящей на шесть этажей вниз. Между ступенями был проложен тонкий стальной прут. Здесь она выпустила меня и решительно велела спускаться. Сделав несколько шагов, я обернулся посмотреть, как она справится сама.

Справлялась она превосходно, хотя и не пользовалась ступенями. Ее юбка свисала, как занавес, а сама она висела посередине лестницы. Я был настолько удивлен, что остановился, и она, заметив это, зло тряхнула головой. Я побежал по спирали лестницы, а дама следовала за мной, поворачивая ко мне лицо, очень похожее на лицо моего отца. При этом одну руку она все время держала на перилах. Когда мы спустились до третьего этажа, она спрыгнула и схватила меня с такой же легкостью, с какой кот ловит расшалившегося котенка. Затем повела меня по комнатам и коридорам, которыми мне никогда не разрешали ходить. Все они перепутались в моей голове, словно я находился в совершенно незнакомом здании. В конце концов мы оказались перед дверью, ничем не отличающейся от остальных. Она открыла ее старомодным латунным ключом, похожим на пилу, и сделала знак войти.

Комната была ярко освещена, и теперь я ясно увидел то, о чем на крыше и в коридорах лишь подозревал. Независимо от того, как она двигалась, юбка ее оставалась в двух дюймах от пола, а между материалом и полом было совершенно пусто. Женщина указала на небольшой столик, накрытый кружевной салфеткой:

— Садись.

Сама она переместилась к креслу типа «конфессионал» и уселась напротив меня. Помолчав, спросила:

— Как тебя зовут?

Я ответил, она многозначительно посмотрела на меня и принялась раскачиваться в кресле, отталкиваясь от стоящей рядом лампы. Потом снова заговорила:

— А как он тебя называет?

— Он?

Я понял ее не сразу, видимо, от недосыпания. Она поджала губы.

— Мой брат.

Я расслабился.

— О, так значит, вы — моя тетка? Я заметил, что вы похожи на отца. Он называет меня Номер Пять.

Уголки ее губ опустились так же, как часто бывало у отца. Потом она сказала:

— Этот номер либо слишком низок, либо слишком высок. Из живущих есть только он и я. Ну, может, еще имитатор. У тебя есть сестра, Номер Пять?

Произнося эти слова, она настолько походила на Тетку Бетси Тротвуд из «Дэвида Копперфильда», которого Мистер Миллион велел нам прочитать, что я расхохотался.

— В этом нет никакой нелепости. У твоего отца есть сестра, почему бы тебе не иметь ее тоже? Итак, есть?

— Нет, но у меня есть брат. Его зовут Дэвид.

— Называй меня тетя Дженнина. Дэвид похож на тебя, Номер Пять?

Я покачал головой.

— У него курчавые светлые волосы, не такие, как у меня. Может, он немного и похож, но только немного.

— Я думаю, — буркнула тетка себе под нос, — он использовал одну из моих девушек.

— Простите?

— Ты знаешь, кто был матерью Дэвида, Номер Пять?

— Мы братья, так что это, наверно, и моя мать, но Мистер Миллион говорит, что она ушла давно.

— Нет, она не была твоей матерью. Я могу показать тебе снимок твоей матери. Хочешь его увидеть?

Она позвонила, и из какой-то дальней комнаты пришла служанка. Тетка что-то шепнула ей, и девушка вышла. Повернувшись ко мне, тетка спросила:

— Что ты делаешь целыми днями, Номер Пять, кроме того, что бегаешь по крыше, когда тебе это запрещено? Тебя учат?

Я рассказал ей о своих экспериментах (я ставлял неоплодотворенные яйца развиваться без сексуального контакта, а потом подвергал их химической обработке, чтобы удвоить хромосомы, получая тем самым следующее несексуальное поколение) и о вскрытиях, к которым уже тогда поощрял меня Мистер Миллион. При этом я упомянул, что интересно было бы сделать биопсию аборигена со Святой Анны, если кто-то из них еще сохранился, потому что описания первых исследований сильно различаются. Некоторые из пионеров утверждали, что аборигены умели подражать людям.

— А-а-а... — протянула тетка. — Значит, ты знаешь о них. Тогда я тебя проэкзаменую, Номер Пять. Что такое гипотеза Вейла?

Мы изучали ее несколько лет назад, поэтому я сказал:

— Согласно этой гипотезе аборигены могли превосходно подражать людям. Вейл считал, что когда прибыли корабли с Земли, аборигены перебили всех людей, а потом заняли их место и захватили корабли. Так что вымерли не они, а мы.

— Ты имеешь в виду людей с Земли — гомо сапиенс?

— Что-что?

— Если Вейл прав, мы с тобой аборигены ко Святой Анны, по крайней мере по происхождению. Пожалуй, ты имел в виду именно это. Ты согласен с ним?

— Думаю, это не имеет значения. Он говорил, что имитация была идеальной, а если это так, они такие же, какими были мы.

Я считал, что блеснул своими знаниями, однако тетка усмехнулась и начала раскачиваться быстрее. В небольшой светлой комнатке было очень тепло.

— Номер Пять, ты слишком молод для семантики. Боюсь, что тебя сбило с толку слово «идеальный». Я уверена, что доктор Вейл использовал его в широком смысле, а не так буквально, как понимаешь ты. Имитация не могла быть идеальной, поскольку люди не умеют изменять свою форму; подражая им «идеальным» образом, аборигены должны были утратить свой дар.

— А разве этого не могло случиться?

— Мой дорогой мальчик, все способности должны постепенно развиваться, а когда разовьются, их нужно использовать, иначе они атрофируются. Если бы аборигены могли подражать так идеально, что это лишило бы их данной способности, им пришел бы конец. И наступил бы он наверняка задолго до прибытия первых кораблей. Разумеется, нет никаких доказательств, что они могли делать подобное. Они просто вымерли, прежде чем можно было провести над ними детальное исследование. Вейл драматическим способом хотел найти объяснение жестокости и иррациональности, окружающей его. Однако его теория ни на чем не основывается.

Я подумал, что ее последнее замечание дает отличный повод поинтересоваться способом ее передвижения, тем более, что она казалась благосклонной ко мне, но прежде чем я успел это сделать, нас прервали почти одновременно с двух сторон. Вернулась служанка с большой книгой, оправленной в тисненую кожу. Едва она подала ее тетке, как постучали в дверь.

— Открой, — рассеянно сказала тетка.

Просьба могла относиться и ко мне, и к служанке. Я удовлетворил свое любопытство, первым подбежав к двери. В коридоре ждали две *demi-mondaines* моего отца. Одеты и накрашены они были так, что выглядели удивительнее любого аборигена: высокие, как тополя Ломбардии, нечеловеческие, как призраки.

Их зеленовато-желтые глаза были раскрашены так, что походили на большие яйца, а раздутые груди поднимались почти до плеч. Несмотря на это, они соблюдали привитую им сдержанность, и я с удовольствием заметил, что их удивило мое присутствие в этой комнате.

Я кивнул, приглашая их войти; когда служанка закрыла за ними дверь, тетка сказала:

— Минутку, девочки. Я хочу кое-что показать этому мальчику. Потом он выйдет.

Это кое-что оказалось снимком, сделанным необычным для меня способом, который я принял за новую технологию. Она заключалась в отсеивании всех цветов, кроме светло-коричневого. Снимок был небольшой и, судя по виду и потрепанному краям, очень старый. Он изображал стройную и, похоже, высокую двадцатипятилетнюю девушку, которая стояла на булыжной мостовой рядом с полным молодым мужчиной, а на руках держала младенца. Дорога проходила перед странным, очень длинным одноэтажным домом. Через каждые двадцать-тридцать футов у него было крыльцо или веранда, придававшие зданию новый архитектурный облик. Это выглядело так, словно построили ряд соприкасающихся друг с другом очень узких домиков. Я вспоминаю эту деталь, хотя тогда едва обратил на нее внимание, — поскольку после выхода из тюрьмы часто искал этот дом. Когда тетка впервые показала мне снимок, я больше заинтересовался лицом девушки и младенца. Этого последнего почти не было видно, потому что ребенка плотно закутали в белое шерстяное одеяло. У девушки же были четкие черты лица и очаровательная улыбка, одновременно небрежная и хитрая. Цыганка, подумал я в первый момент, однако для этого кожа ее была слишком светлой. В нашем мире все мы происходим от относительно небольшой группы колонистов и потому достаточно однородны. Но за время учебы я познакомился с первичными земными расами и теперь подумал, а точнее был уверен, что девушка происходит от кельтов.

— Уэльс, — сказал я, — Шотландия или Ирландия.

— Что? — удивилась тетка.

Одна из девушек захохотала. Обе они сидели сейчас на софе, заложив одну на другую длинные, почему-то поблескивающие ноги, похожие на лакированные дровки флагов.

— Неважно.

Тетка внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Ты прав. Я пошлю за тобой, и мы поговорим об этом, когда у нас обоих будет больше времени. А пока служанка отведет тебя в твою комнату.

Из долгой дороги, проделанной вместе со служанкой, я не помню ничего. Забыл я и то, как объяснил Мистеру Миллиону свое необоснованное отсутствие. Вероятно, он все прекрасно понял или узнал правду от слуг, поскольку вызов в комнату тетки все не приходил, хотя я ждал его целыми неделями.

В ту ночь — я почти уверен, что это была та самая ночь — мне снились аборигены Святой Анны. Они танцевали в плюмажах из свежей травы на головах, руках и вокруг лодыжек, потрясая плетеными из камыша щитами и копьями с наконечниками из нефрита. Их раскачивание перешло наконец на мою кровать и превратилось в руки слуги, который явился, чтобы вызвать меня

в библиотеку отца, как делал это почти каждую ночь.

В ту ночь — я совершенно уверен, что это была та самая ночь, когда мне впервые приснились аборигены — изменился порядок моих визитов к отцу. На протяжении четырех или пяти лет встречи наши имели постоянно повторяющуюся схему: мы начинали с разговоров, потом шли голограммы, свободные ассоциации, а затем он отправлял меня спать. На этот раз после вступительного разговора, имевшего целью ослабить меня психически (что, как обычно, не получилось), отец велел мне подвернуть рукав и лечь на старую больничную кушетку, стоявшую в углу комнаты. Я должен был смотреть на стену, то есть на полки, заваленные потрепанными блокнотами, и неожиданно почувствовал, как кто-то вонзил мне иглу с внутренней стороны руки. Голову мне придерживали, я не мог ни встать, ни увидеть, что они делают. Потом иглу вынули, и отец велел мне лежать спокойно.

Кажется, я лежал так очень долго. Отец время от времени раскрывал мне веки и смотрел в глаза или проверял пульс. Наконец кто-то в дальней части комнаты начал рассказывать длинную и сложную историю. Отец делал записи по мере рассказа и время от времени прерывал его, чтобы задать вопросы, на которые мне не нужно было отвечать, потому что рассказчик делал это сам.

Впреки ожиданиям, наркотик, который мне ввели, не ослабил действия с течением времени. Совсем наоборот, он все больше отрывал меня от действительности. Исчезла кушетка с шелушащейся обивкой, превратившись в палубу корабля или в крылья голубя, хлопающие высоко над миром. Мне уже было все равно, принадлежал ли голос, который я слышал, мне или отцу. В нем преобладали то высокие, то низкие тона, моментами мне казалось, что он говорит из глубины могучей груди, гораздо большей, чем моя собственная. Голос отца, который можно было определить по шелесту страниц блокнотов, напоминал порой крики бегущих по улицам детей, какие я слышал, высовывая голову в окно на куполе библиотеки.

С той ночи жизнь моя снова изменилась. Наркотики — поскольку мне кажется, что их было несколько — повлияли на мое здоровье. Обычно я реагировал на них так же, как и первый раз. Случалось, однако, что я не мог лежать спокойно и целыми часами бегал по кругу или, наоборот, погружался в роскошный либо невыразимо ужасный сон. Часто я просыпался с сильной головной болью, мучившей меня потом весь день. Я переживал периоды крайней нервозности и страха. Самым ужасным было то, что иногда терялись целые куски дня.

Когда я приходил в себя, я был одет, читал, ходил или говорил, но совершенно не помнил, что случилось после того, как предыдущей ночью я лежал, бормоча что-то, в библиотеке отца.

Хотя мы не прерывали занятий, роли мои и Мистера Миллиона в некотором смысле поменялись местами. Теперь я настаивал, чтобы урок состоялся, я выбирал тему и обычно я опрашивал по ней Дэвида и Мистера Миллиона. Если мы не шли ни в библиотеку, ни в парк, я часто читал, вообще не вставая с постели.

Встречи Дэвида с отцом изменились так же, как и мои, однако происходили они реже, а по мере того, как лето переходило в осень, стали и вообще спорадическими. Вообще говоря, Дэвид лучше переносил наркотики, поэтому они действовали на него гораздо слабее.

Если можно провести точную границу моего детства, это произошло именно той зимой. Ухудшившееся здоровье заставило меня отказаться от ребячьих забав, а с другой стороны — заняться опытами на небольших животных и вскрытием поставляемых Мистером Миллионом трупов. Как уже говорил, я учился или часами читал, но иногда целыми днями лежал, заложив руки за голову, пытаюсь вспомнить слова, которые слышал, когда разговаривал с отцом. Ни Дэвид, ни я никогда не помнили достаточно много, чтобы построить логическую теорию о задаваемых нам вопросах. Однако до сих пор я помню несколько сцен, которых наверняка никогда не видел. Думаю, это результат внушения, производившегося отцом, пока я продирался сквозь дебри сознания.

Моя прежде такая недоступная тетка теперь разговаривала со мной в коридорах и даже приходила в нашу комнату. Я узнал, что она следила за хозяйством дома, а потому устроил с ее помощью небольшую лабораторию в том же крыле, что и спальня. Большую часть зимы я провел за эмалированным столом для вскрытий или в постели. Снег заслонил половину окна и засыпал обнаженные побеги плюща. В редких случаях, когда я встречал посторонних гостей моего отца, я видел, как они входили в мокрых ботинках, засыпанные снегом.

Краснолицы, они тяжело дышали и фыркали, отряхивая в холле пальто. Апельсиновых деревьев уже не было, да и сад на крыше не использовался. Поздней ночью полдюжины завсегдатаев выбегали вместе со своими любимцами во двор под нашими окнами. Развеселенные вином, они закидывали друг друга снежками, а кончалась эта забава раздеванием девиц и катанием их обнаженными по снегу.

Как обычно случается с людьми, большую часть времени проводящими дома, весна явилась для меня неожиданностью. Однажды, когда мне все еще казалось, что на дворе зима (если я вообще думал о погоде), Дэвид открыл окно настежь и настоял, чтобы я пошел с ним в парк. Был уже апрель. Мистер Миллион отправился с нами. В небольшой садик между нашим домом и улицей мы вышли через парадную дверь. Когда я был там в последний раз, садик покрывали сугробы

убранного с дорожки снега, теперь же он светился бутонами ранних цветов и был наполнен звоном фонтана. Дэвид похлопал железного пса по улыбающейся морде и сказал:

— «А оттуда пес с четырьмя головами прибыл в мир света».

Прикинувшись наивным, я обратил его внимание, что он ошибся в счете.

— О, нет. У Церберши четыре головы. Ты этого не знал? Четвертая — это голова ее невинности, а она такая сука, что ни один пес не сможет ее отнять.

Рассмеялся даже Мистер Миллион. Чуть позже я заметил, что Дэвид здоров и крепок, а также отметил признаки мужественности, уже видимые в развороте его плеч. Мне пришло в голову, что если три головы изображали Мэтра, Мадам и Мистера Миллиона, то есть отца, тетку и учителя, то скоро нужно будет отливать четвертую — Дэвида.

Парк был для него настоящим раем, я же чувствовал себя так плохо, что он показался мне угрюмым. Большую часть утра я провел, сидя на скамейке и глядя, как Дэвид играет в теннис. Около полудня, правда, не на мою скамейку, но все же рядом, села темноволосая девочка с ногой в гипсе. Она пришла в парк на костылях в обществе гувернантки или сиделки, которая, по моему, специально села между нами. К счастью, эта неприятная дама сидела слишком прямо, чтобы ее миссия увенчалась полным успехом. Она сидела на самом краешке скамьи, а девочка, вытянув перед собой больную ногу, откинулась на спинку, так что я мог свободно разглядывать ее прекрасный профиль. Время от времени она поворачивалась что-то сказать сопровождавшей ее ведьме, и тогда я видел все ее лицо. Оно было скорее округлым, чем овальным, с карминовыми губами, фиалковыми глазами, тонкими изогнутыми бровями и длинными ресницами. Большая прядь черных волос падала на лоб. Когда подошла старушка, продающая булки (они были длиннее ладони и такие горячие от жара, в котором жарились, что есть их нужно было очень осторожно), я воспользовался ее услугами и купил одну для себя, а две ароматные булки послал девочке и ее спутнице. Последняя, конечно, отказалась, но я с радостью заметил, что девочка просит разрешения взять свою. Ее лучистые глаза и покрытые румянцем щеки красноречиво выражали желание принять угощение. По жестам девочки можно было догадаться, о чем они говорили. Отказываясь безо всякой причины, обижаешь незнакомого. Она была голодна, так что все равно хотела купить булку, а отказываться от того, что хочешь и что тебе дают даром — просто расточительство. Продащице явно понравилась роль посредницы, и она заявила, будто готова расплакаться при мысли, что придется возвращать мое золото (на самом деле это был мелкий банкнот,

почти такой же жирный, как ее товар, но гораздо более грязный). Постепенно женщины начали так громко спорить, что я услышал голос девочки: чистый, очень приятный и низкий. Наконец, сиделка согласилась принять подарок и холодно поклонилась мне, а девочка за ее спиной подмигнула.

Спустя полчаса Дэвид и Мистер Миллион (стоявший возле корта и следивший за игрой) спросили, не хочу ли я сходить на ленч. Я ответил, что да, прикинув, что после него смогу перестать поближе к девочке. Мы пошли в небольшое чистенькое кафе недалеко от цветочного рынка, и там я торопливо проглотил свою порцию. Однако когда мы вернулись в парк, там не было уже ни девочки, ни гувернантки.

Примерно через час после возвращения домой отец вызвал меня к себе. Я пошел с некоторым опасением, потому что никогда еще не вызывал меня так рано. Не пришли еще даже первые клиенты, а я всегда ходил к нему после ухода последних. Но оказалось, я зря боялся. Он спросил о моем здоровье, и я ответил, что чувствую себя лучше, чем зимой. С уверенностью, совершенно не похожей на его обычную усталость, он заговорил тогда о своих делах и необходимости подготовить мальчика к вступлению в жизнь.

— Кажется, ты занимаешься естественными науками? — сказал он.

Я ответил, что действительно пытаюсь внести в эту область хотя бы небольшой вклад, и приготовился, что он, как это обычно делали другие, заговорит о бесполезности изучения химии или биофизики в мире вроде нашего, где очень мала промышленная база и где, кроме того, они не годятся для государственных экзаменов, не помогут в торговле и т.д. Вместо этого он сказал:

— Приятно слышать. Честно говоря, я просил Мистера Миллиона поощрять тебя к подобным занятиям. Впрочем, он сделал бы это и сам, как когда-то со мной. Учеба эта принесет тебе не только удовлетворение, но будет, — он умолк, откашлялся и потер руками лицо и голову, — полезна во многих делах. Кроме того, это в некотором смысле семейная традиция.

Совершенно искренне я ответил, что рад этому.

— Ты видел мою лабораторию за большим зеркалом?

— Нет, я никогда не был там.

Я знал, что в комнатах за раздвижным зеркалом находилась лаборатория. Слуги порой говорили об «амбулатории», где отец готовил для них таблетки, ежемесячно осматривал работающих у него девушек, а время от времени выписывал лекарства для легкомысленных «знакомок» наших завсегдатаев, которые по неосторожности не ограничили контактов только нашим заведением. Я сказал, что охотно посмотрел бы лабораторию. Отец усмехнулся:

— Однако, мы отошли от темы. Наука очень важна, но, как и я, ты убедишься, что она поглощает денег больше, чем приносит. Тебе нужна будет аппаратура, книги и множество других вещей, а кроме того, придется еще на что-то жить. Дела у нас здесь идут неплохо, и хотя — частично благодаря науке — я надеюсь жить долго, ты наследник, и однажды это станет твоим...

(Значит, я старше Дэвида!)

— ...каждая фаза того, что мы делаем. Поверь, ни одной из них нельзя пренебрегать.

Я был так удивлен, даже обрадован своим открытием, что прослушал часть его речи, поэтому просто кивнул, что показалось мне безопасным.

— Хорошо. Я хочу, чтобы ты начал с дежурства у входной двери — до сих пор там стояла служанка. В течение первого месяца она будет тебе помогать, поскольку научиться нужно большому, чем тебе кажется. Я скажу Мистеру Миллиону, и он все устроит.

Я поблагодарил его, и отец открыл дверь, давая понять, что разговор закончен. Когда я выходил, мне было трудно поверить, что это тот же человек, который почти каждое утро высасывал из меня жизнь.

Я не связал этого внезапного повышения моего статуса с событиями в парке, но теперь понимаю, что Мистер Миллион, у которого в буквальном смысле слова глаза на затылке, наверняка сообщил отцу, что я достиг возраста, когда детское влечение, сосредоточенное на родителях, начинает постепенно выходить за пределы семьи.

Во всяком случае, еще в тот вечер я принял обязанности, которые Мистер Миллион назвал «приветственными», а Дэвид (объясняя, что первоначальное значение этого слова связано с порталом) окрестил словом портье. Тем самым практически я принял функции, которые символически выполнял железный пес в саду. До меня этим занималась служанка по имени Нерисса. Ее выбрали потому, что она была не только красивой, но и самой высокой и сильной из девушек-служанок. Широкая в кости, с вытянутым улыбающимся лицом, в плечах она превосходила большинство мужчин. Как и обещал отец, она осталась, чтобы помочь мне. Наши обязанности нельзя было назвать тяжелыми. Завсегдатаи отца были, как правило, людьми с устоявшимся общественным положением и не имели привычки скандалить, за исключением редких случаев сильного опьянения. Большинство из них бывали уже в нашем доме десятки, а некоторые даже сотни раз. Мы называли их прозвищами, которые использовались только здесь. (Нерисса говорила их мне sotto voce, когда они подходили.) Затем вешали их пальто и показывали дорогу, либо — если возникла необходимость — сами провожали в нужные части здания. Нерисса кипела энергией, и завсегдатаи поглядывали на нее с восторгом: только самые атлетически сложенные

могли потягаться с ней. Она давала пощипать себя и брала на чай, а во времена затишья рассказывала мне, как любители крупных девушек вызывали иногда ее «наверх», и сколько она на этом зарабатывала. Я смеялся над шутками и отказывался от денег, чтобы дать клиентам понять, что принадлежу к руководству. Впрочем, многие знали это и сами часто говорили, что я очень похож на отца.

В самом начале моей работы в качестве распорядителя, на третий или четвертый день, явился необычный гость. Он пришел ранним вечером, а поскольку день был исключительно унылым, один из последних действительно зимних дней, лампы в саду горели уже по крайней мере с час. Слышны были кареты, время от времени проезжавшие по улице, но разглядеть их было невозможно. Когда он постучал, я открыл дверь и, как делал со всеми незнакомыми, вежливо спросил, что ему угодно.

— Поговорить с доктором Аубри Вейлом.

Я непонимающе уставился на него.

— Это Салтимбанк, 666?

Разумеется, да. Фамилия Аубри Вейла мне что-то напоминала, но я не мог ее ни с чем увязать и потому решил, что кто-то из наших клиентов назвал наш дом в качестве *adresse d'accomodation*. Ясно было — мужчина не прикидывается. Нам не рекомендовалось разговаривать с кем бы то ни было в дверях, поэтому я пригласил его войти и попросил Нериссу принести кофе в небольшую темную комнатку для гостей, прилегающую к холлу, где можно было поговорить наедине. Комнаткой этой пользовались очень редко, и, открыв дверь, я заметил, что уборщицы не стирают пыль. Я отметил это в памяти, чтобы сказать отцу, и тут вспомнил, где слышал о докторе Вейле. Когда я впервые разговаривал с теткой, она упомянула его теорию о том, что, возможно, мы произошли от аборигенов со Святой Анны, которые перебили поселенцев с Земли и так превосходно им подражали, что забыли о собственном прошлом.

Незнакомец уселся на один из позолоченных стульев. Он носил иссиня-черную бороду, больших размеров, чем диктовала тогдашняя мода, и был молод, хотя, конечно, гораздо старше меня. Если бы не бледная кожа, он был бы даже красив. Его темная одежда казалась необычайно тяжелой, словно сделанной из войлока. Разглядывая его, я вспомнил рассказ одного клиента о том, что в бухте приводнился звездолет со Святой Анны. Я спросил незнакомца, не прибыл ли он на борту звездолета. Тот сначала удивился, потом рассмеялся.

— Ну и хитрец же ты! Наверняка знаешь теорию доктора Вейла, если живешь с ним под одной крышей... Нет, я с Земли. Меня зовут Марш.

Он протянул мне визитную карточку, и я прочел ее дважды, прежде чем понял отпечатанное

на ней. Мой гость был ученым, доктором антропологии с Земли. Я заметил:

— Я вовсе не хотел рисоваться перед вами и действительно думал, что вы прилетели со Святой Анны. Большинство людей на нашей планете, кроме цыган и преступных племен, имеют определенный тип лица, а вы к нему не подходите.

— Я заметил то, о чем ты говоришь, — ответил он. — У тебя самого такое лицо.

— Говорят, я очень похож на отца.

— Ты клон?

— Клон? — Я уже встречал этот термин, но лишь применительно к ботанике. Как часто случалось и прежде, когда я хотел блеснуть перед кем-то образованностью, мне ничего не приходило в голову. Я почувствовал себя невеждой.

— Рожденный путем партеногенеза. Это значит, что потомок или потомки — а ты можешь завести их хоть тысячу — имеют такую же генетическую структуру, как их отец. Это противоречит эволюции, и потому на Земле запрещено. Думаю, что здесь за этим не следят так строго.

— Вы говорите о людях?

Он утвердительно кивнул.

— Я никогда о таком не слышал. Сомневаюсь, что у нас здесь есть нужная технология. По сравнению с Землей мы довольно отстали. Конечно, не исключено, что отец мог бы что-то для вас сделать.

— Я не хочу иметь такого потомства.

В этот момент вошла Нерисса, сделав невозможным продолжение разговора. Об отце я упомянул просто по привычке, не очень веря, что он может совершить такой биологический *tour de force*. Однако возможность существовала, особенно если бы предложили крупную сумму. Мы молча подождали, пока Нерисса расставит чашки и нальет кофе, а затем выйдет. Когда дверь за нею закрылась, Марш восхищенно сказал:

— Необычайная девушка. Я заметил, что у нее ярко-зеленые глаза, лишённые коричневых крапинок, часто встречающихся у людей с зелеными глазами.

Меня так и подмывало спросить его о Земле и новых открытиях, совершенных там. Мне пришлось в голову, что его наверняка можно будет задержать или, по крайней мере, заставить вернуться с помощью наших девушек, поэтому я сказал:

— Вы должны их увидеть. У моего отца отличный вкус.

— Я бы предпочел увидеться с доктором Вейлом, а не с твоим отцом. А может, он и есть доктор Вейл?

— О, нет!

— Но это его адрес — Салтимбанк-Стрит, 666. Порт-Мимизон, Департамент де ла Мейн, Сент-Крокс.

Он говорил совершенно серьезно, и нельзя было исключить возможности, что если я скажу

ему, что это ошибка, он сразу уйдет. Поэтому я сказал:

— Я узнал о гипотезе Вейла от моей тетки. Похоже, она очень хорошо в этом разбирается. Может, вы хотите поговорить с нею?

— А нельзя ли сделать это сейчас?

— Тетка принимает очень мало гостей. Честно говоря, она, кажется, поругалась с отцом еще до моего рождения и редко выходит из своих комнат. Ответственные за прислугу рассказывают ей, как обстоят дела, а она управляет хозяйством. Очень редко можно встретить Мадам вне ее комнат. И чужих туда пускают нечасто.

— Почему ты мне все это говоришь?

— Чтобы вы поняли, что я не смогу устроить вам эту встречу. По крайней мере, не сегодня.

— Ты мог бы ее просто спросить, знает ли она адрес доктора Вейла, а если да — попросить, чтобы назвала его.

— Я действительно пытаюсь вам помочь, доктор Марш, поймите это.

— Однако ты уверен, что это не лучший вариант?

— Да.

— Иначе говоря, если бы я просто спросил тетку, не дав ей возможности составить обо мне собственного мнения, она могла бы ничего не сказать, даже если бы знала адрес?

— Хорошо бы нам с вами сначала немного поговорить. Я бы многое хотел узнать о Земле.

На мгновение мне показалось, что под черной бородой мелькнула горькая улыбка. Потом он сказал:

— А может, я спрошу первым?

Тут нас снова прервала Нерисса, желавшая узнать, не нужно ли нам что-нибудь с кухни. Я готов был задушить ее, когда доктор Марш прервал свою фразу на середине и заметил:

— Может, девушка спросит, примет ли меня тетка?

Нужно было быстро решать. Я собирался пойти сам и, подождав некоторое время, вернуться и сказать, что тетка примет его позже. После этого мы смогли бы поговорить о Земле. Однако существовала возможность (несомненно, усиленная в моих глазах горячим желанием услышать о новых изобретениях на Земле), что он не стал бы ждать или бы, увидевшись в конце концов с теткой, рассказал ей о моем поведении. С другой стороны, если бы я послал Нериссу, то задержал бы его для себя лишь до ее возвращения. Впрочем, у тетки могли быть какие-то более срочные дела, чем встреча с незнакомцем. Короче говоря, я отправил Нериссу, а доктор Марш дал ей визитку, на обороте которой написал несколько слов.

— Да, — сказал я, — так о чем вы хотели меня спросить?

— Ваш дом на планете, заселенной неполных двести лет, выглядит очень старым.

— Его построили 140 лет назад, но на Земле у вас наверняка много куда более старых домов.

— Пожалуй, да. Их сотни, но на каждый из них приходится десять тысяч домов, не простоявших еще и года. А здесь почти каждое здание выглядит таким же старым, как это.

— У нас здесь никогда не было тесноты, поэтому не возникало необходимости ломать старые дома. Так говорит Мистер Миллион. Сейчас здесь меньше людей, чем пятьдесят лет назад.

— Мистер Миллион?

Я рассказал ему о Мистере Миллионе, а когда закончил, он заметил:

— Похоже, у вас есть независимый имитатор десять-девять. Это может быть интересно. Их сделали всего несколько штук.

— Имитатор десять-девять?

— Миллиард — десять в девятой степени. Человеческий мозг насчитывает несколько миллиардов нервных связей, однако обнаружено, что можно неплохо имитировать его действие...

Мне показалось, что не прошло и минуты после ухода Нериссы, а она уже вернулась. Сделала реверанс перед доктором Маршем и сказала:

— Мадам примет вас.

— Сейчас? — воскликнул я.

— Да, — ответила Нерисса. — Мадам сказала, что сейчас.

— Я провожу его, а ты смотри за дверями.

Я повел доктора Марша по темным коридорам, выбирая трассу подлиннее, чтобы выиграть время, но он, похоже, всю дорогу прикидывал вопросы, которые задаст тетке, и когда я пытался вытянуть из него что-нибудь о Земле, отвечал очень кратко.

Когда мы остановились перед дверью тетки, я постучал. Она открыла сама. Черная юбка свободно висела над незатоптанным ковром, но, думаю, доктор Марш этого не заметил.

— Простите, что беспокою вас, — сказал он.

— Ваш племянник считает, что вы сможете помочь мне в поисках автора гипотезы Вейла.

— Доктор Вейл — это я, — ответила тетка. — Пожалуйста, входите.

Она закрыла за ним дверь, оставив меня в коридоре с открытым от удивления ртом.

О докторе Марше я рассказал Федрии при нашей следующей встрече. Если до сих пор я не упомянул этого имени, то должен сказать, что так звали девочку, сидевшую недалеко от меня, когда я смотрел, как Дэвид играет в теннис. Во время моего следующего похода в парк ее представила мне ни много, ни мало та самая ужасная опекунша. Она посадила ее рядом со мной, а потом — чудо из чудес — немедленно удалилась, так что, хоть и не теряя нас из виду, не могла слышать, о чем мы говорили. Федрия вытянула вперед сломанную ногу и одарила меня премилой улыбкой.

— Ты не против, если я посижу здесь?

Зубы у нее были красивые.

— Я просто в восторге.

— Ты удивлен. Когда ты удивляешься, у тебя очень большие глаза — ты знал об этом?

— Конечно, удивлен, ведь я искал тебя здесь несколько раз, но не мог найти.

— Мы тебя тоже искали, но тебя не было, а в конце концов сколько можно сидеть в парке?

— Я бы сидел, — ответил я, — если бы знал, что ты меня ищешь. Я и так приходил сюда, когда только мог. Но я боялся, что она, — кивок в сторону старухи, — не разрешит тебе вернуться. Как ты ее уговорила?

— А я и не уговаривала, — сказала Федрия. — Ты не догадываешься? Ничего не знаешь?

Я признался, что нет. Вообще я был настолько захвачен запоминанием мелодичности ее голоса, фиолетового оттенка ее глаз и даже тонкого запаха ее кожи и теплого дыхания на моей щеке, что не очень-то заботился о формулировке ответов на ее вопросы.

— Дело в том, — говорила Федрия, — что когда тетка Урания, бедная родственница моей матери, пришла домой и рассказала о тебе отцу, он узнал, кто ты — и вот я здесь.

— Да, — сказал я, а она рассмеялась.

Федрия была из девушек, воспитывавшихся с надеждой на замужество или продажу. Интересы ее отца — как это определила она сама — были «нестабильны». Он спекулировал товарами, привозимыми на кораблях с юга, — тенями и лекарствами. Как правило, он влезал в большие долги, которых кредиторы не могли получить, если не давали еще больше, чтобы он мог покрыть расходы. Не исключено было, что он умрет нищим, однако дочь он воспитывал, заботясь о каждой мелочи и следя, чтобы ей сделали все пластические операции. Если он сможет дать хорошее приданое, когда Федрия достигнет возраста замужества, то благодаря этому войдет в какую-нибудь богатую семью. Если же к тому времени ему не будет хватать денег, за воспитанную таким образом девушку он получит в пятьдесят раз больше, чем за обычного ребенка с улицы. Наша семья представляла интерес и в первом, и во втором случае.

— Расскажи мне о своем доме, — попросила она. — Знаешь, как его называют дети? «Пещера уток», или просто «Пещера». Мальчики гордятся, что были там, но большинство, утверждая это, лжет.

Однако я предпочитал поговорить о докторе Марше и науке на Земле. Я хотел услышать о ее мире, о детях, про которых она говорила с такой свободой, о ее школе и доме, причем не меньше, чем она хотела узнать о нас. Кроме того, хотя я и не имел ничего против рассказа о том, какие услуги оказывали наши девушки, было несколько вопросов — например, подъем тетки по лестнице — о которых я предпочитал не распространяться.

Мы купили булки с яйцом у той же старушки, что и в прошлый раз, ели их под еще холодными лучами солнца, а когда расстались, были уже не только влюбленными, но и друзьями и договорились встретиться на следующий день.

Ночью, примерно в то время, когда я вернулся — а точнее, когда меня отнесли в постель, поскольку я почти не мог ходить после нескольких часов, проведенных у отца, — сменилась погода. Запах мускуса, характерный для поздней весны или раннего лета, проникал сквозь окна, а огонь в нашем маленьком камине почти угас, словно от стыда. Слуга отца открыл окно, и в комнату ворвался запах снега, тающего под самыми дальними и темными елями на северной стороне гор. Я договорился с Федрией на десять, поэтому перед визитом в библиотеку отца положил на столик возле кровати записку с просьбой разбудить меня на час раньше. В ту ночь, вдыхая запах весны, я засыпал с мыслью — наполовину планом, наполовину мечтой — что мы с Федрией как-то ускользнем от ее тетки и поищем укромного газона, испещренного голубыми и желтыми цветочками.

Проснулся я в час дня и увидел за окном сплошную завесу дождя. Мистер Миллион читал книгу в другом конце комнаты и сказал, что не стал будить меня, потому что так лет с шести часов. Голова у меня разламывалась от боли, как часто бывало после визитов к отцу. Я принял одну обезболивающую таблетку, которые он мне прописал, она была серая и пахла анисом.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Мистер Миллион.

— Я хотел идти в парк.

— Знаю. — Он подъехал ко мне, и я вспомнил, что доктор Марш назвал его независимым имитатором. Впервые с тех пор, как еще маленьким мальчиком утолил свое любопытство, я наклонился (что вызвало новый приступ боли) и прочел почти стершуюся надпись на его основном ящике. Там было лишь название кибернетической фирмы с Земли и его имя, написанное — как я всегда предполагал — по-французски: «М.Миллион», то есть Монсеньор, Мистер или Господин Миллион. Внезапно, словно удар сзади на человека, размышляющего в мягком кресле о голубом миндале, на меня обрушилась мысль, что точка иногда используется в алгебре как знак умножения. Он сразу заметил, как изменилось выражение моего лица.

— Емкость сердечника тысяча миллионов слов, — сказал он. — Английский биллион или французский миллиард. «М», разумеется, римская цифра, означающая тысячу. Я думал, ты давно знаешь об этом.

— Ты независимый имитатор. А что такое имитатор зависимый, и кого ты имитируешь — отца?

Изображение на экране, которое я всегда счи-

тал портретом Мистера Миллиона, отрицательно покачало головой.

— Ты можешь считать меня, то есть особу, которую я представляю, своим прадедом. Он — то есть я — умер. Чтобы создать имитатор, требуется изучить клетки мозга слой за слоем, с помощью излучения ускоренных частиц. Таким образом нервная система воссоздается, то есть записывается на стержневую память компьютера. Это влечет за собой неизбежную смерть человека, мозг которого подвергается процедуре. Чтобы имитатор имел вид человека, механическое тело должно быть «связано» с удаленным от него стержнем, поскольку даже самый миниатюрный миллиардный стержень несравнимо больше, чем мозг человека. — Он снова умолк, а его лицо сменилось на мгновение тысячами блестящих точек, кружившихся, как пылинки в луче солнца. — Извини. Получилось, что ты хочешь слушать, а я не хочу рассказывать. Когда-то давно, перед самой операцией, мне сказали, что мой имитатор — то есть я — в определенных обстоятельствах будет способен чувствовать. До сегодняшнего дня я считал, что это ложь.

Если бы сумел, я задержал бы его, но прежде чем я пришел в себя от удивления, он уже выехал из комнаты. Очень долго, час или даже больше, я слушал стук дождя и думал о Федрии и о том, что сказал Мистер Миллион. Все это перемешалось у меня с вопросами, которые отец задал мне прошлой ночью. Я чувствовал себя так, словно они выкрадывали из меня все ответы, оставляя пустоту, которую тут же начали заполнять сны о заборах, стенах и рвах, скрывающих препятствия, которые видишь, только когда вот-вот должен споткнуться. Когда-то мне снилось, что я стою на мощеном дворе, так плотно окруженном коринфскими колоннами, что не могу между ними проскользнуть, несмотря на свои три или четыре года. Я долго искал достаточно большой проход и наконец заметил, что на каждой колонне вырезано какое-нибудь слово. Единственное, что я запомнил, это «са арасе» (панцирь — фр.). Заметил я и то, что двор вымощен надгробными плитами, такими же, которые можно встретить в старых французских соборах. На каждой из них значилось мое имя и различные даты.

Сон этот преследовал меня, даже когда я пытался думать о Федрии. Когда служанка принесла теплую воду — в то время я брился два раза в неделю — оказалось, что я уже держу бритву в руке и даже порезался, измазав кровью пижаму и постель.

Когда я в следующий раз увиделся с Федрией, четыре или пять дней спустя, она была захвачена планом, в который втянула также Дэвида и меня. Речь шла, ни много ни мало, о театральной труппе. В состав ее входили в основном девушки в возрасте самой Федрии, они собирались все лето

давать представления в естественном амфитеатре в парке. Поскольку, как я уже говорил, труппа состояла главным образом из девушек, участие в ней мальчиков было очень ценно. Вскоре мы с Дэвидом уже работали в ней. Авторами пьесы был выбранный среди актеров комитет, а неизбежной темой — утрата политической власти первыми франкоязычными колонистами. Федерия, которая ко времени представления еще носила гипс, получила роль искалеченной дочери французского губернатора. Дэвид играл ее любовника, галантного капитана конных стрелков, а я — самого губернатора. Я принял эту роль охотно, поскольку она была гораздо лучше роли Дэвида, а кроме того давала возможность прожить к Федрии отцовскую заботу.

Представление, состоявшееся в начале июня, я помню отлично по двум причинам. Тетка, которую я не видел с тех пор, как она закрыла дверь за доктором Маршем, в последнюю минуту сообщила, что хочет присутствовать и велела сопровождать ее до места. Кроме того, мы, актеры, так боялись пустоты в зрительном зале, что я попросил отца прислать часть девушек. Они потеряли бы на этом лишь самую раннюю часть вечера, когда клиентов все равно мало. Меня очень удивило, когда он согласился (вероятно, в рекламных целях), предупредив однако, что если придет за ними посыльного, им придется уйти даже с конца третьего акта.

Я должен был прийти по крайней мере на час раньше, чтобы загримироваться, поэтому уже поздним пополуднем пошел к тетке. Она сама открыла дверь и тут же приказала мне помочь служанке снять что-то тяжелое с верхней полки шкафа. Это оказалась складная инвалидная коляска, которую мы и собрали под руководством тетки. Когда мы закончили, она сухо сказала:

— А теперь помогите мне.

Опираясь на наши руки, она села в кресло. Черная юбка легла на подставку для ног, как поваленная палатка, из-под нее торчали ноги, не толще моих запястий, а пониже бедер выпирало еще что-то странное, немного похожее на седло. Заметив, как я это разглядываю, она буркнула:

— До возвращения это мне, пожалуй, не понадобится. Подними меня немного. Стань сзади и возьми под руки.

Я сделал, как она велела, а служанка бесцеремонно залезла под юбку тетки и вытащила оттуда небольшой обтянутый кожей предмет, на который тетка опиралась.

— Идем? — фыркнула тетка. — Ты опоздаешь.

Я выкатил коляску в коридор, служанка держала дверь. Открытие, что способностью подниматься, как дым, тетка обязана механическим устройствам, наполнило меня беспокойством еще большим, чем то, которое я испытывал, не зная об этом. Она спросила, почему я так притих, и я

ответил все, что об этом думал, добавив, что до сих пор считал, будто никто еще не сумел на практике добиться антигравитации.

— И ты решил, что мне это удалось? Тогда почему я не воспользовалась ею, чтобы пойти на твой спектакль?

— Может, ты не хочешь, чтобы это увидели люди.

— Ерунда. Это обычный протез, из тех, что покупают в медицинском магазине. — Она повернулась в кресле, чтобы видеть меня. Лицо ее очень походило на лицо отца. Безвольные ноги свисали, как прутики, которыми мы с Дэвидом пользовались в раннем детстве для магических фокусов. Мы укладывали одеяла так, чтобы Мистер Миллион думал, будто мы лежим, а на самом деле сидели под ними на корточках. — Протез создает поле сверхпроводимости, а затем индуцирует вихревые токи в арматурных стержнях пола. Индуцированный ток противодействует току в протезе, а я благодаря этому приподнимаюсь над полом. Я наклоняюсь вперед, чтобы двигаться, и выпрямляюсь, чтобы остановиться. Вижу, тебе полегчало.

— Да. Антигравитация меня пугает.

— А однажды, спускаясь с тобою по лестнице, я использовала железные перила. У них очень удобная форма спирали.

Пьеса прошла довольно хорошо. Как и следовало ожидать, хлопали и кричали в основном те из зрителей, что происходили из старой французской аристократии или утверждали, что являются ее потомками. Количество зрителей превзошло самые смелые ожидания — пришло около пятисот человек, а так же, как обычно, карманные вору, полиция и уличные девки. Событие, запомнившееся мне лучше всего, произошло под конец второго акта. Около десяти минут я сидел за столом, слушая, что говорили мои коллеги. Сцена была обращена на запад, и последние лучи солнца сказочно раскрасили небо: золотые ленты просвечивали сквозь путаницы фиолетового, пурпурного, красного и черного цветов. На этом диком фоне, который могло бы создать скопление адских знамен, поодиночке и парами, как вытянутые тени фантастических, появляющихся из-за зубцов гренадеров, начали появляться головы, стройные шеи и узкие плечи группы *demi-mondaines* моего отца. Опоздавшие, они занимали последние места верхней части амфитеатра, окружая его так, словно это солдаты, нанятые каким-нибудь древним владыкой, окружают взбунтовавшуюся толпу.

Наконец, они уселись, пришло мое время говорить, и я забыл о них. Собственно, я ничего больше и не помню из нашего первого выступления, за исключением того, что в один из моментов какое-то мое движение напомнило публике моего отца, и это вызвало взрыв смеха в совершенно неподходящем месте. Кроме того, в нача-

ле второго акта взошла Святая Анна, залив обравшихся зеленым светом. Отлично видны были ее лениво текущие реки и огромные, поросшие травой болота. В конце третьего акта я заметил, как маленький горбатый слуга отца крутится в последних рядах, и девушки одна за другой выходят шеренгой черных с зеленой оторочкой тейней.

В то лето мы поставили еще три пьесы. Все имели некоторый успех, а Дэвида, Федрию и меня начали считать тройкой партнеров. Федрия делила свою благосклонность примерно поровну между нами, и я никак не мог понять, руководят ею собственные чувства или указания родителей. Когда ее нога срослась, она стала приятелем Дэвида по спорту — в игре в мяч и во всех играх с ракетками она была лучшей среди девушек, приходящих в парк. Однако часто забрасывала все это, чтобы посидеть рядом со мной. Ей нравился мой интерес к ботанике и биологии, хотя она его и не разделяла. Часто сплетничала и обожала хвалиться перед подругами моей способностью придумывать каламбуры и быстрые ответы, приобретенной благодаря большой начитанности.

Когда оказалось, что доходы с продажи билетов на нашу первую пьесу не покрывают расходов на костюмы и декорации для следующих пьес, Федрия придумала, чтобы после окончания представления актеры собирали пожертвования среди публики. Суматоху и давку, которые при этом начинались, мы, разумеется, использовали и для мелких краж ради общего дела. Впрочем, люди в большинстве своем были достаточно осмотрительны, чтобы приносить в театр в темном парке больше денег, чем требовалось на билеты и, возможно, мороженое или стакан вина в перерыве.

Так что, независимо от того, насколько мы были нечестны, доходы наши оставались невелики, и вскоре Дэвид и Федрия начали поговаривать о более опасных, но и более прибыльных приключениях.

Примерно в то же время у меня все чаще стали возникать пробелы в сознательном контроле своих поступков. Вероятно, это происходило из-за постоянного, все более интенсивного вмешательства в мое подсознание, принявшего форму грубых, уже почти еженощных исследований с по-прежнему неясной мне целью. Я настолько привык к ним, что почти перестал подвергать их сомнению. Дэвид и Мистер Миллион рассказывали, что вел я себя вполне нормально, может только чуть тише, чем обычно, и разумно, хоть и рассеянно, отвечал на вопросы. Внезапно приходя в себя, я тарасил глаза на знакомые комнаты и лица, среди которых обнаруживал себя поздно пополудни, не помня, как встал, оделся, побрился, позавтракал, сходил на прогулку.

Несмотря на то, что я любил Мистера Миллиона не меньше, чем будучи маленьким мальчи-

ком, после того, как я узнал, что означают так хорошо знакомые мне буквы на его ящике, отношения между нами изменились. Я не мог и до сих пор не могу избавиться от сознания, что человек, которого я любил, умер за много лет до моего рождения, а я имел дело с его имитацией, функционирующей при опоре на математические формулы, в подражание своему оригиналу реагирующей на раздражители, вытекающие из человеческой речи и поступков. Я никак не мог решить, давало ли сознание, которым обладал Мистер Миллион, право говорить «я думаю» и «я чувствую», как он всегда это делал. Когда я спросил его, он признался, что и сам не может ответить на этот вопрос. Не зная критериев сопоставления, он не мог быть уверен, что его мыслительные процессы являются настоящим сознанием. Я со своей стороны не мог оценить, был ли этот ответ глубоким отражением души, которая каким-то образом жила среди абстракций имитатора, или же просто фонографической реакцией, вызванной моим вопросом.

Как я уже говорил, наш театр действовал все лето. Во время последнего представления листья взлетали в воздух, как чьи-то пахучие забытые письма, и медленно падали на сцену. Когда опустились занавес, мы — те, кто написал и поставил все пьесы этого сезона — были так удручены, что могли только снять костюмы и стереть грим. Потом, безвольные, как эти летящие по ветру листья, потащились по дорожкам прямо домой. Помню, что должен был занять свое место у дверей, но в холле меня ждал слуга отца, велевший идти сразу в библиотеку, где отец сухо объявил мне, что вечером будет занят, поэтому хочет поговорить со мной раньше. Он казался большим и усталым, и я впервые подумал, что когда-нибудь он умрет, а я стану богатым и свободным.

Разумеется, я не помню, что говорил под действием наркотиков, однако вспоминаю сон, который потом мне приснился, и так четко, словно видел его прошедшей ночью. Я находился на белом корабле, похожем на те, что таскали волю по зеленой воде канала рядом с парком. Они делают это так медленно, что острые носы не оставляют за собой никакой волны. Я был единственным членом команды, точнее, единственным живым человеком на борту. За штурвалом стоял труп высокого худого мужчины. Огромное колесо он держал так безвольно, что казалось, это оно движет им, помогая держаться на ногах и сохранять равновесие, а не наоборот. Когда он повернул голову в мою сторону, я узнал лицо, видимое на экране Мистера Миллиона. Как я уже говорил, оно очень похоже на лицо моего отца, однако я знал, что мертвый человек за штурвалом не он.

Прошло много времени, и мы, кажется, выплыли в открытое море. Сильный ветер дул на несколько градусов левее от нашего курса. Когда ночью я поднялся наверх, мачты, перекладины и

веревки трепетали на ветру. Паруса один за другим вздымались надо мной, а мачты вырастали вперед и за моей спиной. Днем, когда я работал на палубе, брызги воды мочили мою рубашку, а на досках оставались пятна, быстро высыхавшие под жарким солнцем.

Я не помню, чтобы плавал на таком корабле, но, возможно, это произошло в раннем возрасте, поскольку все звуки — скрип мачт, свист ветра среди тысяч вантов, грохот волн, разбивающихся о деревянный корпус, — были такими же отчетливыми, настоящими и характерными, как смех и звон стекла, которые я слышал ребенком, когда пытался заснуть, или звук труб из крепости, который иногда будил меня по утрам.

Я что-то делал на палубе этого корабля, но не помню точно, что. Носил ведра воды, которой смывал с палубы засохшую кровь, тащил вроде бы ни к чему не крепившиеся веревки, на самом деле привязанные к неподвижным предметам где-то высоко в оснастке. Разглядывал поверхность моря с носа, с вершин мачт и с крыши большой надстройки посреди корабля. Однако, заметив, что далеко от нас с шипением погружается в воду звездолет с ослепительно разогретыми дозами, не доложил об этом никому.

И все это время человек за штурвалом что-то говорил мне. Голова его безвольно свисала, словно шея была сломана. Волна ударяла по рулю, штурвал подсказывал, и тогда голова перекатывалась с одного плеча на другое, падала вниз или на спину — так, что он таранился в небо. И все же он говорил, а из небольшого числа слов, которые разобрал, я понял, что он излагает какую-то этическую теорию, основные положения которой он сам подвергал сомнению. Я боялся слушать его рассуждения, поэтому старался держаться поближе к носу, однако часто ветер доносил его слова, и я слышал их очень отчетливо. Каждый раз, поднимая голову, я заметил, что нахожусь гораздо ближе к штурвалу, чем мне казалось, порой почти касаюсь мертвого рулевого.

Когда я провел на корабле уже много времени и начал испытывать усталость и одиночество, открылась дверь кабины и из нее вышла моя тетка. Она висела вертикально над перекосившейся палубой, а юбка не спадала вниз, как раньше, но развевалась на ветру, точно знамя, отчего казалось, что ветер вот-вот должен ее поднять. Не знаю почему, я сказал:

— Не подходи к рулевому, тетя, он может причинить тебе вред.

Она ответила так естественно, словно мы встретились в коридоре возле моей спальни:

— Ерунда. Он уже давно не может никому ни помочь, ни навредить, Номер Пятый. Скорее нужно бояться моего брата.

— А где он?

— Внизу. — Она указала пальцем на палубу, будто желая сказать, что он в трюме. — Пытается узнать, почему корабль стоит на месте.

Я подбежал к борту и, выглянув, увидел не воду, а ночное небо. Невообразимо далеко под мной сверкали бесчисленные звездолеты. Корабль неподвижно покоился на месте. Я повернулся к тетке, и она сказала:

— Не плывет потому, что брат бросил якорь, чтобы проверить, почему он не плывет.

В этот момент я почувствовал, что съезжаю по веревке куда-то, что принял за трюм. Внутри сильно пахло животными. Я проснулся, хотя в первый момент и не понял этого.

Ногами я касался пола и заметил, что рядом со мной Дэвид и Федрия. Мы находились в огромном помещении, видимо, на каком-то чердаке. Федрия выглядела прелестно, но была очень напряжена и нервно кусала губы. Где-то пропел петух.

— Как, по-твоему, где могут быть деньги? — спросил Дэвид. Он держал в руках сумку с инструментами.

Либо Федрия ждала от него других слов, либо ответила на свои собственные мысли:

— Времени у нас много. Мэридол присмотрит.

Мэридол играла в наших пьесах.

— Если не сбежит. Где, по-твоему, деньги?

— Не здесь. Внизу, за кабинетом.

До сих пор она сидела на четвереньках, теперь встала и начала пробираться вперед. Вся она была в черном, начиная от черных балетных туфель до черной ленты в черных волосах. Белое лицо и руки резко контрастировали с этим нарядом, а карминовые губы казались ошибкой, цветовым пятном, оставленным по недосмотру. Мы с Дэвидом шли следом.

По полу на большом расстоянии друг от друга были расставлены ящики. Когда мы проходили мимо, я заметил, что в них находятся птицы, по одной в каждом, а добравшись до лестницы, через люк уходящей вниз, понял, что это разводимые для поединков петухи. Внезапно через одно из окошек в крыше луч света упал прямо на ящик. Сидевший там петух поднялся и расправил крылья, пестрые, как у ары. Сверкнули дикие красные глаза.

— Идем, — сказала Федрия. — Дальше будут собаки.

Следом за ней мы спустились по лестнице и оказались в настоящем аду.

Собаки сидели на цепях в отдельных боксах, и перегородки между ними были такой высоты, чтобы они не могли видеть своих соседей. Между рядами таких перегородок проходили широкие дорожки. Здесь были боевые собаки самых разных размеров — от десятифунтовых терьеров до огромных сторожевых псов, зверюг с деформированными головами, похожими на покрытые наростами старые деревья, и челюстями, которые, сомкнувшись, могли откусить у человека ногу. Псы производили невероятный шум, густой, словно твердое тело. Внизу я взял Федрию под

руку и попытался жестами показать ей, что следует немедленно уйти отсюда. Я был уверен, что, где бы мы ни находились, явились мы сюда без разрешения. Девушка покачала головой. Поскольку я не мог понять ее слов, даже когда она старательно выговаривала их, она написала мокрым пальцем на пыльной стене:

— Они всегда так, если услышат что-то с улицы.

На следующий этаж нужно было спускаться по лестнице, к которой вела тяжелая, но не запертая дверь. Вероятно, ее установили для уменьшения шума. Я почувствовал себя гораздо лучше, когда мы закрыли ее за собой, хотя по-прежнему было очень шумно. Я уже полностью пришел в себя и хотел сказать Дэвиду и Федрии, что не знаю, где нахожусь и что мы здесь делаем, однако меня удерживал стыд. Впрочем, цель похода угадать было нетрудно. Дэвид спрашивал, где деньги, а ведь мы часто говорили о какой-нибудь одной, но крупной краже, которая освободила бы нас от необходимости воровать по мелочам.

Где мы были, я узнал позже — при выходе, а информацию о том, как мы там оказались, сложил из разговоров и отдельных замечаний. Первоначально это здание проектировали как склад. Оно стояло на Рю де Эгутс, недалеко от бухты, и его владелец снабжал живым товаром любителей разного рода спортивных поединков. Его считали обладателем самой крупной коллекции подобных существ во всем Департамента. Отец Федрии недавно посетил его по делам, взяв с собой дочь. Всем было известно, что заведение открывается не раньше, чем после последнего Ангела Господня, и мы пошли туда после второго, на следующий день после визита Федрии; внутрь попали через окошко в крыше.

Трудно описать, что мы увидели на очередном — втором — этаже здания. Невольников-борцов я видел много раз на рынке, когда вместе с Дэвидом и Мистером Миллионом ходил в библиотеку. Однако их никогда не бывало больше двух-трех, и всегда они были закованы в тяжелые кандалы. Здесь они лежали и сидели, где только можно. На мгновение я удивился, почему они не растерзали друг друга и нас в придачу, но потом заметил, что их удерживают короткие цепи, прикреплённые к полу. Каждого окружало кольцо царпин и щепок, по которым легко было определить пределы их досягаемости. Скромная обстановка — соломенные матрацы, пара стульев и скамей — была либо так легка, что ею невозможно было никому причинить вреда, либо очень тяжела и тоже прикреплена к полу. Я думал, они будут на нас кричать и грозить, как делали это во время схваток, но, видимо, они понимали свое бессилие, пока сидят на цепях. Когда мы спустились сюда по лестнице, все повернули головы в нашу сторону, однако, увидев, что мы не принесли пищи, потеряли к нам интерес.

— Правда, что они уже не люди? — спросила Федрия.

Она шла теперь прямо, как солдат на параде, с интересом разглядывая невольников. Я подумал, что она выше и стройнее, чем в моих мыслях, и не просто красива, а прекрасна.

— Собственно, это животные, — заговорила она снова.

Меня учили про них, я знал больше нее и объяснил, что они были людьми в младенчестве, детьми, а порой даже и еще позже. Разница между ними и нормальными людьми заключалась в хирургических операциях (частично проведенных на мозге) и изменениях в системе желез, вызванных с помощью химических веществ. Конечно, они отличались и внешне из-за многочисленных шрамов.

— Твой отец делает подобное с маленькими девочками для вашего дома?

— Только иногда, — ответил Дэвид. — Это отнимает много времени, а клиенты в основном предпочитают нормальных девушек, даже если любят немного странных.

— Хотела бы я их увидеть. То есть тех, с кем он это делал.

По-прежнему думая об окружающих нас невольниках, я сказал

— Ты о них не знала? Я думал, ты уже была здесь. О собаках ты знала.

— О да, я их уже видела, и хозяин говорил о них... Это просто мысли вслух. Ужасно, если бы они еще оставались людьми.

Интересно, подумал я, понимают ли они, что говорит Федрия? Невольники все время следили за нами.

На первом этаже было совершенно иначе, чем на верхних. Стены покрывали панели с панно, изображавшими собак, петухов, невольников и разных удивительных животных. Окна, выходящие на улицу Эгутс и бухту, были узкие и размещались так высоко, что пропускали совсем мало солнечного света, вырывавшего из полумрака только роскошное кресло, покрытое красной кожей, квадратик коричневого ковра и полупустой графин. Сделав три шага, я понял, что нас обнаружили: к нам приближался высокий парень с узкими плечами. Когда я остановился, он тоже удивительно замер. На мгновение я смутился. Это было мое отражение в зеркале между окнами. Этим угрюмым юношей с острым подбородком меня видели Федрия, Дэвид, Мистер Миллион и моя тетка.

— Здесь он принимает клиентов, — сказала Федрия. — Если хочет что-то продать, велит своему помощнику приносить товар по одному экземпляру, чтобы невозможно было сравнить. Однако даже здесь слышен лай собак. Папу и меня он водил наверх и показал все.

— Он показал вам, где хранит деньги? — спросил Дэвид.

— Там, сзади. Видишь тот гобелен? Вообще-то это портьера. Когда он разговаривал с папой, пришел какой-то тип, чтобы отдать ему деньги. Потом он отнес их за эту портьеру.

Дверь за гобеленом вела в небольшой кабинет, а напротив в стене имела еще одна. Нигде не было видно никакого сейфа. Дэвид выломал замок в столе ломом, который вынул из своей сумки, но там оказались только бумажки. Я уже собирался открыть вторую дверь, когда из-за нее донеслось что-то вроде царапанья или шуршанья.

С минуту никто из нас не шевелился. Я замер, как вкопанный, с рукой на задвижке, слева от меня Федрия, искавшая тайник под ковром, застыла на корточках, и юбка раскинулась вокруг нее, как черная лужа. Возле стола слышалось дыхание Дэвида. Шорох повторился, скрипнула доска пола. Дэвид тихо произнес:

— Это животное.

Я снял руку с задвижки и посмотрел на него. Он все еще держал лом и был бледен, хоть и улыбался.

— Это привязанное там животное шаркает ногами.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Кто бы там ни находился, он должен был нас услышать, особенно, когда я ломал замок. Если это человек, он вышел бы сюда, а если боится, спрятался бы и сидел тихо.

— Пожалуй, ты прав. Открой дверь, — сказала Федрия.

— А что будем делать, если это не животное?

— Животное, — сказал Дэвид.

— А если все-таки нет?

Ответ я прочел по их лицам. Дэвид удобнее перехватил лом, и я открыл дверь.

Комната оказалась больше, чем я ожидал, но пустая и грязная. Скучный свет проникал через узенькое окошко, расположенное в стене напротив двери. Посреди комнаты стоял большой, окованный железом сундук, а перед ним лежало что-то, похожее на кучу тряпья. Когда я вошел туда из застекленного ковром кабинета, тряпки зашевелились и показалось лицо, треугольное, как у богомола. Под кустистыми коричневыми бровями, как пурпурные огоньки, горели глаза.

— Деньги наверняка здесь, — сказала Федрия, глядя не на это лицо, а на окованный железом сундук. — Дэвид, ты сможешь его открыть?

— Пожалуй, — ответил он, но сам, как и я, смотрел на существо в лохмотьях. — А что с ним? — спросил он.

Прежде чем Федрия успела ответить, чудовище раскрыло рот, показав длинные и узкие серо-желтые зубы.

— Болен, — сказала оно.

Никому из нас и в голову не приходило, что существо может говорить, и выглядело это так, словно заговорила мумия. По улице проехала ка-

рета, стуча железными колесами по булыжникам.

— Пошли отсюда, — сказал Дэвид.

— Он болен, — возразила Федрия. — Хозяин принес его сюда, чтобы держать на виду и заботиться о нем.

— Большого невольника приковали цепями к сундуку с деньгами? — усомнился Дэвид.

— Это единственный тяжелый предмет в комнате. Нужно подойти и дать этому бедняге по голове. Если боишься, дай мне лом, я сделаю это сама.

— Уж лучше я, — возразил Дэвид.

Вместе с ним я на несколько футов приблизился к сундуку. Дэвид размахивал перед невольником ломом.

— Эй, ты, отойди!

Невольник издал какое-то бульканье и на четвереньках отодвинулся в сторону, таща за собой цепь. Он кутался в грязное драное одеяло и казался не больше ребенка, но я заметил, что руки у него огромные.

Я повернулся и сделал шаг к Федрии, желая убедить ее уйти отсюда, если Дэвид не сумеет вскрыть сундук в течение нескольких минут. Помню, Федрия широко открыла глаза, и я еще недоумевал, почему она это сделала, как вдруг с грохотом посыпались инструменты Дэвида, а сам он вскрикнул и рухнул на пол. Что-то крикнула Федрия, на третьем этаже залаяли собаки.

Все это заняло не более секунды. Почти одновременно с падением Дэвида я повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Невольник с быстротой молнии вытянул руку и схватил моего брата за лодыжку, а потом скинул с себя одеяло и прыгнул на него буквально как обезьяна.

Я схватил его за шею и дернул назад, думая, что он крепко вцепился в Дэвида и придется оттащить его силой, но, едва почувствовав прикосновение моих рук, он оттолкнул брата и, как паук, вывернулся из моей хватки. У него было четыре руки.

Я видел, как он машет ими в воздухе. Выпустив его, я отскочил в сторону с ощущением, будто в лицо мне бросили крысу. Это инстинктивное отвращение спасло меня, потому что невольник ударил ногами назад с такой силой, что, попади он в меня, со мной наверняка было бы кончено.

Пока же он кувыркнулся вперед, а я, с трудом хватая ртом воздух, рухнул и покатился, уходя из пределов его досягаемости. Дэвид тоже убрался в безопасное место, а Федрия и так стояла далеко.

Некоторое время я только тряся и пытался сесть. Все мы просто таращились на это чудовище. Наконец Федрия вздохнула и спросила меня:

— Как его сделали таким?

Я ответил, что, вероятно, провели трансплантацию дополнительной пары рук, предваритель-

но подавив сопротивление организма вживлению чужой ткани. Во время операции должны были заменить часть ребер костной тканью из плеч донора.

— В порядке самообразования я делал нечто подобное с мышами. Самое странное тут то, что он отлично владеет пересаженными руками. Нервные окончания почти невозможно совместить, разве что имеешь дело с однояцевыми близнецами. У того, кто это делал, наверняка сто раз ничего не вышло, прежде чем он добился цели. Этот невольник стоит целое состояние.

— Я думала, что ты уже избавился от мышей. Разве ты работаешь не с обезьянами?

— Пока нет, хотя собирался переходить на них... Однако ясно было, что разговорами мы ничего не добьемся.

— Мне показалось, ты хочешь выйти, — сказал Дэвид.

Так оно и было, но сейчас я гораздо больше хотел осмотреть это существо. Дэвид всегда гордился тем, что был храбрее меня, и я знал, что если скажу: «Ты, может, и хочешь удрать, но не надо заслоняться мной», — вопрос будет решен.

— Он не может до нас дотянуться, а мы можем в него чем-нибудь бросать, — сказала Федрия.

— А если промахнемся, он тем же самым бросит в нас.

Пока мы разговаривали, четырехрукий невольник глуповато улыбался. Я был почти уверен, что он понимает по крайней мере часть нашего разговора, и потому сделал знак Дэвиду и Федрии вернуться в комнату, где стоял стол. Выйдя последним, я закрыл дверь.

— Не хочу, чтобы он нас слышал. Если мы найдем какие-нибудь острия на дровяках, что-то вроде копыя, то сможем убить его, не подходя близко. Что можно использовать как дровки? Есть какие-нибудь идеи?

Дэвид отрицательно покачал головой, но Федрия сказала:

— Я, кажется, что-то вспомнила.

Мы оба уставились на нее, а она сделала вид, что сосредоточенно вспоминает. Ей льстил наш интерес.

— Ну? — спросил Дэвид.

— Шесты для закрывания окон. Такие, с крючком на конце. Помните окна в том зале, где хозяин разговаривает с клиентами? Они очень высоко. Когда он говорил с папой, вошел один из работников с таким шестом и открыл окно. Они должны быть где-то здесь.

После пятиминутных поисков мы нашли два таких шеста. Они были около футов длиной, полтора дюйма толщиной и сделаны из твердого дерева, Дэвид махнул своим, делая вид, будто вонзает его в Федрию, потом спросил меня:

— А где взять наконечники?

Мой неразлучный скальпель, как обычно, покоился в чехле у меня в кармане. Я прикрепил

его к шести изолянтной, которая, к счастью, была у Дэвида на поясе, а не в сумке. Однако мы не могли ничего найти на второе копые. Наконец, Дэвида осенило, что это может быть кусок стекла.

— Окно трогать нельзя, — сказала Федрия. — Могут услышать снаружи, а кроме того, стекло сломается при первом же ударе.

— Толстое стекло твердое. Смотрите.

Я снова увидел собственное лицо — Дэвид показывал на большое зеркало, так напугавшее меня недавно. Он ударил по нему ботинком, и оно со звоном разбилось, а наверху вновь разлаялись собаки. Дэвид нашел длинный, почти треугольный кусок и поднес его к свету. Стекло сверкало, как драгоценный камень.

— Почти такой же наконечник, какие делали из агата и яшмы на Святой Анне, — сказал он.

Как и договорились, мы подошли с разных сторон. Невольник запрыгнул на сундук и оттуда спокойнее смотрел на нас. Глубоко посаженные глаза его поворачивались то ко мне, то к Дэвиду. Наконец мы подошли совсем близко, и Дэвид кинулся на него.

Когда стеклянное острие прошло по его ребрам, невольник молниеносно повернулся, схватил шест Дэвида и потянул на себя. Я ударил его своим, но промахнулся. Прежде чем я восстановил равновесие, он уже схватился с Дэвидом в другом конце комнаты. Наклонившись, я ткнул в него копыем и только после крика Дэвида понял, что вонзил скальпель брату в бедро. Брызнула кровь, светлая кровь из артерии, перепачкав шест. Выпустив его, я перепрыгнул через сундук и бросился на них.

Невольник тут же переключился на меня. Лежа на спине, он поднял все четыре руки, как лапы дохлого паука. Не сомневаюсь, он задушил бы меня, не получись так, что Дэвид, не зная, сознательно или случайно, заслонил ему глаза рукой. Невольник не сумел меня схватить, и я упал между его вытянутыми руками,

Осталось рассказать немного. Освободившись от Дэвида, он тащил меня к себе, собираясь перегрызть горло, но я остановил его, ткнув пальцем в глаз. Федрия выказала большую смелость, чем я от нее ожидал. В мою свободную руку она вложила копые Дэвида со стеклянным наконечником, и я нанес удар в горло, перерезав ему обе вены и трахею.

Потом я перевязал Дэвида, и мы сразу ушли — без денег и без знаний, которые я хотел получить, осмотрев тело невольника.

Мэридол помогла нам доставить Дэвида домой. Мистеру Миллиону мы сказали, что Дэвид упал, когда мы осматривали заброшенный дом. Впрочем, сомневаюсь, что он нам поверил.

Есть еще один момент, связанный с этим событием — с убийством невольника. После того, как мы вышли, я сделал открытие, произведшее на

меня тогда гораздо большее впечатление, чем само убийство, и мне хочется сразу рассказать о нем.

Однако сначала опишу то, что, возможно, мне лишь привиделось. Трудно оценить это объективно, поскольку наверняка в моей памяти это подверглось усилению и искажению под воздействием времени. Когда я наносил невольнику решающий удар, наши лица были очень близко друг от друга. Вероятно, под воздействием света, падающего из высоко размещенных окон, я увидел в его зрачках отражение своего лица, и оно показалось мне очень похожим на него. С тех пор я не могу забыть слова доктора Марша о создании любого числа идентичных существ путем клонирования и то, что, когда я был моложе, отца считали торговцем детьми. После выхода из тюрьмы я пытался найти след моей матери, женщины с фотографии, которую показала мне тетка. Однако снимок наверняка сделали задолго до моего рождения — может, даже еще на Земле.

Открытие, о котором говорил, я сделал сразу по выходе из здания, в котором убил невольника, — я обнаружил, что на улице не осень, а середина лета. Поскольку все мы четверо — к нам присоединилась еще Мэридол — беспокоились за Дэвида, придумывая при этом объяснение его ране, я воспринял этот шок не так болезненно, как случилось бы в другое время. И все-таки он оказался силен. Я помнил, что деревья стояли почти голыми, сейчас же было очень тепло и воздух был насыщен типично летней влагой. В шумящих листьями кронах деревьев щебетали вилги, а фонтан в нашем садике извергал уже не теплую воду, которую пускали во время заморозков, чтобы избежать повреждения труб. Когда мы помогли Дэвиду идти по тропе, ведущей к дому, я сунул руку в бассейн. Вода была холодной, как роса.

Итак, периоды бессознательности и хождения во сне стали длиннее. На сей раз это поглотило всю землю и весну.

Когда мы вошли в дом, на руку мне прыгнула обезьянка. Я думал, она принадлежит отцу, но Мистер Миллион объяснил мне, что это прирученное мною животное из моей собственной лаборатории. Я не знал его, однако, судя по шрамам под мехом и на искривленных лапках, оно меня знало.

С тех пор я забочусь о Попо, а когда был в тюрьме, ею занимался Мистер Миллион. В хорошую погоду она еще карабкается по серым, выветренным стенам этого дома. Когда я вижу ее сторбленную фигурку, бегущую по перилам, мне порой кажется, что отец еще жив и в любую минуту может на несколько часов вызвать меня в библиотеку. Но я прощаю своей любимице эти чувства.

Отец не вызвал к Дэвиду врача, а выхаживал его сам. Если его и интриговало, где Дэвид так

поранился, он не подавал вида. Лично мне кажется, хотя это теперь и не имеет значения, он считал, что это я ударил Дэвида во время ссоры. Я говорю так, потому что с тех пор он словно чего-то боялся, когда мы оставались одни. Отец не был боязлив и порой имел дело с самыми худшими преступниками, однако при мне перестал вести себя свободно, словно постоянно был настороже. Поводом к этому могло явиться что-то, сказанное или сделанное мною во время забытой зимы.

Мэридол, Федрия, тетка и Мистер Миллион часто навещали Дэвида, его комната стала местом наших встреч. Правда, иногда нам мешал отец. Мэридол была невысокой симпатичной блондинкой, и я очень полюбил ее, время от времени провожая домой. На обратном пути я задерживался на рынке невольников, как мы часто делали это с Мистером Миллионом и Дэвидом, чтобы купить жареный хлеб, сладкий черный кофе и посмотреть на торги. Нет более неинтересных лиц, чем лица невольников, однако я внимательно вглядывался в них. Прошло не меньше месяца, прежде чем я понял, зачем делаю это. На площадь привели молодого парня, невольника-дворника. Лицо и спину его покрывали шрамы от бича, зубы были сломаны, однако я видел — изуродованное лицо было моим лицом и лицом отца. Я заговорил с ним, готовый купить и отпустить его на свободу, но он ответил мне так подобострастно, что я с отвращением отвернулся.

В тот вечер отец велел мне прийти в библиотеку, хотя несколько последних ночей этого не делал. И разглядывал наши отражения в зеркале, закрывающем вход в лабораторию. Он выглядел моложе, чем был в действительности, а я — старше. Мы почти могли быть одним и тем же человеком. Когда он повернулся ко мне лицом и поверх его плеча я не увидел своего отражения, а лишь его и мои руки, то подумал, что мы вполне могли бы быть тем четырехруким невольником.

Не могу сказать, кто первым высказал мысль о его убийстве. Помню только, что однажды вечером, проведив Мэридол и Федрию домой и собираясь спать, я понял, что именно об этом мы разговаривали чуть раньше, сидя с Мистером Миллионом и теткой у постели Дэвида. Разумеется, мы не говорили этого открыто, может, даже сами перед собой не признавались в своих мыслях. Тетка говорила о деньгах, которые отец якобы где-то спрятал, а Федрия о яхте, роскошной, как дворец. Дэвид коснулся политического влияния, которое дают деньги.

Я не говорил ничего и лишь думал о часах, неделях и месяцах, которые он у меня отнял, об уничтожении им — из ночи в ночь — моего «я». Я думал о том, что еще этой ночью могу оказаться в библиотеке и прийти в себя лишь стариком, к тому же, возможно, нищим.

Для меня стало ясно, что я должен его убить,

ибо если скажу ему все это, лежа одурманенный наркотиками на шелушащемся кожаном диване, уж он-то убьет меня без малейших сомнений.

Ожидая появления слуги, я составил план. Не будет никакого следствия или свидетельства о смерти отца, потому что его заменю я. Клиенты не заметят подмены. Знакомым Федрии я передам, что поссорился с отцом, ушел из дому и некоторое время ни с кем не буду встречаться. Потом время от времени можно будет гримироваться и говорить с кем-нибудь избранным в полутемной комнате. План этот был невыполним, но тогда показался мне вполне реальным и даже простым. В кармане у меня лежал скальпель, и тело я хотел уничтожить в его собственной лаборатории.

Он прочел все по моему лицу и, хотя разговаривал со мной как всегда, думаю, все понял. В комнате стояли цветы, которых никогда прежде не было, и я задумался, не догадался ли он еще раньше и велел их принести, словно то был какой-то особый случай. Он не заставил меня ложиться на кровать, а лишь указал на стул, сам сев к столу.

— Сегодня у нас будет гость, — сказал он.

Я посмотрел на него.

— Ты зол на меня, я вижу, как это в тебе нарастает. Ты знаешь, кто...

Он хотел сказать что-то еще, но тут постучали в дверь, а когда он крикнул: «Входите!» — вошла Нерисса, введя *demi-mondaine* и доктора Марша. Меня удивило его появление, а еще больше присутствие девушки. Она села рядом с доктором Маршем так, что видно было — сегодня ночью она принадлежит ему.

— Добрый вечер, доктор, — сказал отец. — Хорошо проводите время?

Марш усмехнулся, показав большие, широкие зубы. На сей раз он был одет по последней моде.

— Отлично. И телом и душой, — сказал он. — Я видел, как обнаженная девушка в два раза выше мужчины проходит по сцене.

— Это голограмма, — сказал я, и он снова улыбнулся.

— Знаю. Я видел еще многое, и хотел бы все перечислить, но это лишь утомит вас. Достаточно, если я скажу, что у вас великолепное заведение, впрочем, вы это знаете и сами.

— И все равно приятно услышать это еще раз, — ответил отец.

— Вы хотите побеседовать, как мы и договаривались?

Отец взглянул на *demi-mondaine*, та встала, поцеловала доктора Марша и вышла из комнаты. Тяжелая дверь с тихим щелчком закрылась за нею.

Много раз я вспоминал уход девушки: ее туфли на высоких каблуках и с толстыми подошвами, платье с вырезом на спине до самых ягодиц, ее открытую шею и зачесанные вверх волосы с

лентами и маленькими огоньками. Она даже не предполагала, что закрывшаяся дверь означала конец мира, который знали мы с нею.

— Когда вы выйдете, она будет ждать, — сказал отец Маршу.

— А если не будет, у вас наверняка есть другие. — Зеленые глаза антрополога сверкали в свете лампы. — Но перейдем к делу.

— Вы специалист по расам. Можно ли группу похожих друг на друга мужчин, которые мыслят примерно одинаково, назвать расой?

— И женщин, — с улыбкой заметил Марш.

— А здесь, — продолжал отец, — здесь на Санта Крокс, вы собираете материалы, которые возьмете с собой на Землю.

— Разумеется, я собираю материалы. Однако не знаю, вернусь ли на родную планету.

Видимо, я странно взглянул на него, потому что на сей раз он адресовал улыбку мне и, если это возможно, спросил еще более снисходительно, чем прежде:

— Тебя это удивляет?

— Я всегда считал Землю научным центром, — ответил я, — и понимаю ученого, выезжающего с нее для сбора материалов, но...

— Тебе кажется невероятным, чтобы кто-то не желал туда вернуться? Попробуй войти в мое положение. К счастью для меня, не только ты с уважением относишься к седине и мудрости старого мира. Благодаря моему земному воспитанию я получил предложение принять кафедру в вашем университете с оплатой, какую пожелаю, и освобождением от лекций каждый второй год. А путешествие отсюда на Землю потребует двадцати лет ньютоновского времени. Субъективно это для меня всего лишь полгода, но если я вернусь, мои знания устареют на сорок лет. Нет, похоже, ваша планета нашла себе светило науки.

— Мы отошли от темы нашего разговора, — напомнил отец. Марш согласно кивнул и сказал:

— Да. Хотел бы еще добавить, что антрополог имеет особую склонность к тому, чтобы поселиться в иной культуре — даже в таком странном обществе, которое создала вокруг себя ваша семья. Полагаю, вас можно назвать семьей, ведь кроме вас есть еще два человека. Надеюсь, вы не против, что вас двоих я буду называть в единственном числе?

Он посмотрел на меня, словно ожидая протестов, а когда я промолчал, продолжил:

— Я имею в виду вашего сына Дэвида — относительно вашего «я» как целого он является сыном, а не братом — и женщину, которую вы считаете теткой и которая фактически является дочерью предыдущей вашей, скажем, «версии».

— Вы хотите сказать, что я клон, или дубликат отца, и оба вы считаете, что для меня это будет шоком? Нисколько. С некоторого времени я подозревал это.

— Рад это слышать. Честно говоря, когда я

был в твоём возрасте, подобное открытие потрясло меня. Я вошёл в библиотеку своего отца — эту самую комнату — чтобы с ним расправиться. Я хотел его убить, — произнес отец.

— И вы это сделали? — спросил доктор Марш.

— Полагаю, это не имеет значения, главное — намерение. Надеюсь, ваше присутствие смягчает Номеру Пятому это открытие.

— Вы так называете его?

— Так мне удобнее, потому что его зовут так же, как и меня.

— Он ваш пятый клон?

— Мой пятый эксперимент? Нет! — Отец спорбился, став похожим на птицу. Поседевшая от старости любимая обезьянка отца взобралась на стол. — Скорее пятидесятилетний, если это вас интересует. Я делал их ради опыта. Вы, которые никогда такого не пробовали, думаете, что это просто, однако вам неизвестно, как трудно избежать спонтанных различий. Каждый ген, доминирующий во мне, должен остаться таким же, а люди — это не зелёный горошек. Закон Менделя не всегда действует в этом случае.

— Вы уничтожали тех, кто не получился? — спросил Марш.

— Он их продавал, — ответил я. — Будучи ребёнком, я часто думал, почему Мистер Миллион останавливается на рынке, чтобы приглядеться к невольникам. Теперь я это знаю. — Скальпель по-прежнему лежал в чехле у меня в кармане. Я чувствовал его.

— Мистер Миллион, пожалуй, ещё более сентиментален, чем я, — отозвался отец. — Кроме того, я не люблю выходить из дома. Как видите, доктор, вам придется уточнить ваше предположение о том, что мы являемся одним человеком. Все-таки есть небольшие различия.

Доктор Марш уже хотел ответить, но я прервал его.

— Почему, — спросил я. — Почему Дэвид и я? Почему когда-то тетка Дженнина? Зачем продолжать это?

— Да, — согласился отец. — Зачем? Мы задаем этот вопрос, чтобы иметь возможность спрашивать дальше.

— Не понимаю.

— Я ищу самосознание, если можно так выразиться. Ты существуешь благодаря мне, а я — благодаря тому, кто был передо мной и сам возник с помощью того, чей разум имитирует Мистер Миллион. Один из вопросов, на которые мы ищем ответ, звучит так: почему мы их ищем? Но и это не все. — Он наклонился вперед, а обезьянка подняла белую мордочку и блестящие, удивленные глаза, чтобы взглянуть ему в лицо. — Мы хотим узнать, почему у нас никак не получается, почему другие развиваются и меняются, а мы остаемся на месте.

Я подумал о яхте, о которой разговаривал с Федрией, и произнес:

— Я здесь не останусь.

Доктор Марш улыбнулся.

— Вижу, ты меня не понял, — сказал отец. —

На месте — имелось в виду не в физическом смысле, а относительно нашего интеллекта и общественного положения. Я много путешествовал, может, и тебя это ждёт, но...

— Но всегда это кончается на одном месте, — закончил доктор Марш.

— Всегда на одном уровне. — Пожалуй, это был единственный раз, когда я видел отца возбужденным. Он махал руками в сторону блокнотов и лент, громоздящихся вдоль стен, с трудом говоря: — Сколько уже сменилось поколений? А мы не добились ни славы, ни власти даже на этой маленькой колонизированной планете. Нужно что-то менять, но что? — Он устался на доктора Марша.

— Это произошло не только с вами, — сказал доктор Марш и улыбнулся. — Но я имею в виду не ваше дублирование, а то, что с тех пор, как это в последней четверти XX века стало возможно, на Земле неоднократно возникали подобные серии людей. Для описания этого явления мы использовали технологический термин и называем его процессом релаксации. Плохое определение, но лучшего просто нет. Вы знаете, что такое релаксация в технике?

— Нет.

— Некоторые вопросы невозможно решить сразу, а только с помощью серии последовательных приближений. Например, при теплообмене расчет температуры на поверхности тела неправильной формы может быть поначалу невозможен. Однако инженер или компьютер могут предположить, какова будет эта температура, изучить, насколько цифра эта подтвердилась, и уточнить ее. По мере увеличения точности приближения очередные наборы температур все более близки друг к другу, и в конце концов можно в принципе исключить любые изменения. Именно поэтому я утверждаю, что вы один человек.

— Я бы хотел, чтобы вы убедили Номер Пятый, — нетерпеливо сказал отец, — что все опыты, которые я на нем проводил, особенно наркотерапевтические исследования, которые он так не любит, необходимы. Если мы хотим достигнуть чего-то большего, чем до сих пор, необходимо узнать... — Отец уже почти кричал и умолк, чтобы справиться с собой. — Такова цель его существования, а также существования Дэвида. Я хотел что-нибудь узнать благодаря скрещиванию с кем-то другим.

— Вероятно, тем же можно оправдать появление на свет доктора Вейл поколением раньше, — сказал доктор Марш. — Если же говорить об исследовании вашей омоложенной личности, полезны были бы его исследования над вами.

— Минуточку, — сказала я. — Вы по-прежнему утверждаете, что мы с ним идентичны. Согла-

сен, что в некотором смысле мы похожи, но вообще я не такой, как отец.

— Нет таких различий, которые нельзя было бы объяснить возрастом. Сколько тебе лет? Восемнадцать. А вам, — он взглянул на отца, — наверняка почти пятьдесят. Есть только два фактора, определяющих различие людей между собой — это наследственность и среда, характер и питание. Поскольку личность формируется в основном в течение первых трех лет жизни, решающее влияние на нее оказывает атмосфера родного дома. Каждый рождается в определенной среде, хотя порой она может оказаться настолько плохой, что убивает его. Никто не создает себе среды, в которой воспитывается, ее обеспечивает предшествующее поколение. Единственное исключение составляет ситуация антропологической релаксации.

— Только потому, что мы оба выросли в этом доме.

— Который вы построили, обставили и заполнили отобранными вами людьми. Но давайте поговорим о человеке, которого никто из вас не видел, который родился в доме, приготовленном совершенно не похожими на него родителями: о первом из вас...

Я уже не слушал его. Я пришел убить отца, и доктор Марш должен был отсюда выйти. Сидя на стуле и наклонившись вперед, он живо размахивал длинными белыми руками, а я смотрел на него и ничего не слышал. Это было так, словно я оглох, или же он мог общаться только путем беззвучной передачи мыслей, а я, видя, что это глупые выдумки, отделился от них.

— Вы со Святой Анны, — сказал вдруг я.

Он удивленно посмотрел на меня, прервав какую-то бессмысленную фразу.

— Да, я был там несколько лет, прежде чем приехать сюда.

— Вы там родились и изучали антропологию по книгам, написанным на Земле двадцать лет назад. Вы абориген или полуабориген. Но мы-то люди.

— Аборигенов уже нет. По мнению ученых со Святой Анны, они вымерли почти сто лет назад.

— Вы не верили в это, когда пришли повидаться с теткой.

— Я никогда не соглашался с гипотезой Вейла и ходил ко всем, опубликовавшим что-либо в этой области. У меня нет времени выслушивать эти бредни.

— Вы абориген, а не землянин!..

Через минуту мы остались с отцом наедине.

Большую часть срока я провел в трудовом лагере в Потрепанных Горах. Это был маленький лагерь — обычно там находилось около полутора сот заключенных, а один раз, когда зимой умерло особенно много, менее восьмидесяти. Мы рубили деревья и выжигали из них уголь. Если на-

ходили хороший березняк, делали лыжи, собирали вдоль границ леса якобы лекарственный соляной мох и разрабатывали планы постройки направляющей для скатывания камней на роботов — наших охранников. Однако этот момент так и не наступил: камни никак не хотели скатываться. Работа была тяжелой, а охранники суровы и справедливы — в соответствии со своими программами. Это навсегда решило проблему любимчиков и грубого обращения с заключенными, и только хорошо одетые господа на собраниях правления тюрем могли быть жестокими или снисходительными.

По крайней мере, так им казалось. Иногда я часами разговаривал со своим охранником о Мистере Миллионе и однажды в углу, где спал, нашел спрятанный кусок мяса, а в другой раз кусок твердого коричневого и грубозернистого, как песок, сахара.

Преступник не может извлечь выгоду из своего поступка. Как сказали мне позднее, суд не нашел доказательств того, что Дэвид действительно был сыном моего отца, и сделал тетку его наследницей.

Когда она умерла, ее уполномоченный письменно сообщил мне, что я унаследовал «большой дом в городе Порт-Мимизон вместе с обстановкой и прочим движимым имуществом». Дом этот «расположен на улице Салтимбанк, 666 и ныне находится под присмотром слуги-робота». Поскольку роботы, следившие за нами, не позволяли иметь приборы для письма, я не смог ответить.

Время летело, как на крыльях. Осенью я находил мертвых жаворонков у подножия выдвинутых на север скал, а весной — на склонах, обращенных на юг.

Я получил письмо от Мистера Миллиона. Большинство девушек, работающих у отца, разошлись во время следствия по делу о его смерти, а остальных пришлось уволить, когда умерла тетка, потому что — как машина — он не мог добиться необходимого повинования. Дэвид переехал в столицу, Федрия удачно вышла замуж, а Мэридол была продана родителями. На письме стояла дата через три года после суда надо мной, но трудно было установить, долго ли шло письмо, потому что конверт много раз вскрывали и заклеивали, отчего он стал грязным и затрепанным.

Однажды после бури, с трудом взмахивая крыльями, к нам прилетела какая-то морская птица. Она так устала, что не могла лететь дальше. Мы убили ее и съели.

Один из наших охранников спятил, сжег пятнадцать заключенных и всю ночь сражался с другими стражниками на мечях белого и голубого огня. Иного на его место не прислали.

С несколькими другими заключенными меня перевели в лагерь на юге. Там были красные скалы с такими глубокими расщелинами, что если бросить в них камешек, его стук вскоре превра-

шался в грохот рассыпающихся скал, который через полминуты стихал из-за удаления и терялся где-то в темноте.

Я делал вид, что нахожусь среди близких мне людей. Когда я прикрывал от ветра миску с супом, Федрия сидела рядом со мной и с улыбкой рассказывала о своих знакомых. Дэвид целыми часами играл на запыленном дворе нашего лагеря в теннис и спал у стены возле моей койки. А когда я с пилой шел в горы, то держал за руку Мэридол.

Со временем воспоминания стирались, но даже в последний год заключения я каждую ночь засыпал с мыслью, что Мистер Миллион утром поведет нас в городскую библиотеку, и всегда просыпался от страха, что за мной пришел слуга отца.

Потом мне сказали, что я и еще трое узников должны перебраться в другой лагерь. Мы сами несли продукты, но в пути едва не погибли от голода и холода. Оттуда нас отправили в следующий лагерь, где допрашивали не такие, как мы, заключенные, а вольные люди в мундирах. Они что-то записывали, пока мы говорили, под конец же велели нам искупаться, сожгли наши старые тряпки и дали по большому куску мяса с кашей.

Помню, лишь тогда я позволил себе подумать, что все это означает. Я погружал хлеб в пахучий соус так, что он весь им пропитывался, и подбирал им кусочки мяса и крупинки каши. Думал я при этом о жареном хлебе и о кофе на рынке невольников, но не как о реалиях прошлого, а как о том, что меня еще ждет. Руки у меня задрожали, и под конец я уже не мог удержать миску. Мне хотелось бежать к ограждению лагеря и кричать.

Два дня спустя шестерых из нас посадили в запряженную волами повозку, которая извилистыми дорогами спускалась вниз и вниз, пока не оставалась позади уже кончающаяся зима, пока не исчезли березы и пихты, а высокие придорожные каштаны и дубы не покрылись весенними цветами.

На улицах Порт-Мимизона было полно людей, и я заблудился бы уже через минуту, если бы Мистер Миллион не заказал для меня паланкин. Я велел носильщикам остановиться, и на деньги, которые он мне дал, купил у уличного торговца газету, чтобы наконец узнать дату.

Я должен был отсидеть обычную в таких случаях кару лишения свободы от года до пятидесяти лет. Я знал месяц и год, когда меня посадили, однако в лагерях не было возможности узнать, какой идет год. Каждый рассчитывал это, но никто не знал. Подхватив лихорадку, человек через девять дней, когда снова мог работать, говорил, что прошло два года. Потом ты сам цеплял лихорадку, и все повторялось. Из газеты, которую купил, я не помню ни одного заголовка, ни одной статьи. Всю дорогу до дома я разглядывал лишь дату под названием.

Прошло девять лет.

Когда я убил отца, мне было восемнадцать, теперь же — двадцать семь, хотя я думал, что все сорок.

Серые шелушащиеся стены нашего дома несколько не изменились. Железный пес с тремя волчьими головами по-прежнему стоял в саду, но фонтан не работал, а среди папоротников было полно сорняков. Мистер Миллион заплатил носильщикам, открыл ключом дверь, которая во времена моего отца всегда была закрыта на цепочку. Когда он это сделал, к нам подбежала очень высокая худая женщина, продававшая на улице шоколадные батончики. Это была Нерисса. Теперь у меня была служанка, а захоти я, и любовница, хотя заплатить ей я бы не смог.

Пора, наверное, объяснить, почему я написал эти воспоминания, потребовавшие многих дней работы. Нужно объяснить и почему я это объясняю. Короче говоря, я написал это, чтобы критически оценить свои поступки, и сделал это сейчас, потому что знаю — однажды я прочту, и мне будет стыдно.

С тех пор, как я вышел на свободу, прошло три года. Когда мы впервые вошли сюда с Нериссой, в доме царил ужасный беспорядок, поскольку, как рассказал Мистер Миллион, тетка провела последние дни жизни в поисках сокровища, которое отец якобы где-то спрятал. Она ничего не нашла, а по-моему, его вообще нет. Зная характер отца лучше, чем она, я уверен, что большую часть заработанного на девушках он потратил на опыты и аппаратуру. Поначалу мне самому очень нужны были деньги, но, благодаря репутации, которую совсем еще, по сути, недавно имел наш дом, в нем быстро собрались девушки, желающие продать себя, и мужчины, желающие их купить. Я сразу решил, что моя роль сводится лишь к тому, чтобы их друг другу представить, и теперь у меня полный штат работниц. Федрия живет с нами и тоже работает — ее многообещающее супружество оказалось ошибкой. Когда вчера я работал в операционной, то услышал, что она у двери, открыл и увидел ее с ребенком. Когда-нибудь они придут за нами.

Перевод Н. ГУЗНИНОВА

ДЛЯ ФЭНОВ
РУКАМИ ФЭНОВ

ЛАУРЕАТЫ
«ВЕЛИКОГО КОЛЬЦА»

1986

А. и Б. Стругацкие. Волны гасят ветер («Знание — сила», 1985, №№ 6-12, 1986, №№ 1,3). Л. и Е. Лукины. Не верь глазам своим («Знание — сила», 1986, № 10).

1987

А. и Б. Стругацкие. Время дождя («Дагуава», 1987, №№ 1-7). Б. Штерн. Производственный рассказ № 1 («Химия и жизнь», 1987, № 1).

1988

А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне («Смена», 1988, №№ 10-15). А. Столяров. Изгнание беса («Простор», 1988, № 3).

1989

А. и Б. Стругацкие. Град обреченный («Нева», 1988, №№ 9,10, 1989, № 2,3). А. Столяров. Телефон для глухих (В авт. сб. «Изгнание беса». М.: Прометей, 1989).

1990

В. Аксенов. Остров Крым («Юность», 1990, №№ 1-5). Л. и Е. Лукины. Вторжение («Лит. Киргизстан», 1990, № 5). В. Пелевин. Реконструктор («Наука и религия», 1990, № 4).

1991

В. Пелевин. Принц Госплана («SOS», 1991, № 2). Л. и Е. Лукины. Нет бога, кроме бога («Советский воин», 1991, № 5).

(В скобках поясним: фантастика 1990 года оценивалась по трем категориям — а) роман, повесть; б) короткая повесть, большой рассказ; в) рассказ).

В заключение скажем о следующем. Если вы считаете, что неплохо разбираетесь в фантастике, можете тоже принять участие в анкетировании. Шлите заявки по адресу: 644043, Омск, ул. Красный путь, 81, Областная юношеская библиотека, КЛФ «Алькор». В письме не забудьте вложить конверт со своим адресом: в нем — если откликнетесь достаточно быстро — вы получите «Анкету-92»

М. ИСАНГАЗИН,
председатель
КЛФ «Алькор»

МЕСТО, КОТОРОЕ ЕСТЬ

Место, которого нет: так переводится на русский язык слово «утопия». Место, которое есть: так мы можем сказать о ладжском острове Тулон, где ныне создается Культурно-экологический центр имени Н.К.Рериха, одна из главных задач которого — конкретное и наглядное моделирование возможных вариантов будущего. Да, наш проект многим кажется утопическим и фантастическим. Но он уже находится в стадии осуществления.

Остров Тулон расположен вблизи города Сердоболь (ныне Сортавала). Это одно из самых живописных мест севера. На Тулоне в 1918 году Николай Константинович Рерих написал фантастическую повесть «Пламя», — в ней мы находим такие слова: «Массив нашего острова древен. По всем признакам вулканические образова-

ния давно закончились. На таких массивах можно бы осуществить нашу давнюю мысль постройки храма, где сохранятся достижения культуры нашей расы».

В такой музей — но только живой, развивающийся, устремленный в будущее — мы хотим превратить весь остров. Культурные и хозяйственные задачи сочетаются в нашем проекте. Мы начинаем свое дело с закладки аграрного комплекса, с монтажа установок альтернативной энергетики. Земля — энергия — человек: мы хотим утвердить их извечное триединство, опираясь на новейший опыт. Пусть на нашем Тулоне не будет энтропии! Пусть отношения с природой и космосом здесь примут оптимальный характер.

Мы мыслим наш Тулон как кусочек ноосферы. Истинной ноосферы — в том понимании, какое имел в виду В.И.Вернадский. Предвосхищение ноосферной организации жизни мы находим в северных островных монастырях — Соловецком и Валаамском (последний расположен рядом с нами). Островные монастыри — как своего рода микрокосмы: в них осуществляется замкнутый хозяйственный цикл — и вместе с тем это открытые системы, обращенные ко всему миру.

Наш КЭЦ создается как международная организация. Мы стремимся к глубокому взаимодействию разных культурных традиций — мы хотим понять их дополняемость: каждый народ, каждая религия по-своему преломляет единую истину. Со всей полнотой эта истина раскрылась в Святой Троице, которая реализует принцип единства в разнообразии: три ипостаси Троицы и нераздельны, и неслияны одновременно, — проекция этой удивительной диалектики на земную жизнь составляет сущность «русской идеи». Мы возводим часовню в честь Александра Свирского, которому было единственное в истории Русской Церкви явление Святой Троицы, — он жил недалеко от нас, на Святом острове («Святой остров» — так называется наше издательство).

Заложенная в Святой Троице диалектика станет основой нашей культурно-педагогической деятельности. КЭЦ обращен прежде всего к детям, к юношеству. В созданной нами Школе экологического воспитания имени В.И.Вернадского мы будем воспитывать в детях и личностное начало, и чувство соборного единения с другими. Наши курсы экологического воспитания будут пронизаны этикой и эстетикой.

Важнейшим подразделением Центра станет Музей космического искусства. Мы располагаем коллекцией художников группы «Амаравелла», действовавшей в 1910-20-е годы, — это художники-космисты: на ярком языке авангарда они заговорили о величии вселенной, о необычных формах жизни в ней, о контактах между космическими цивилизациями. Мы хотим создать Музей-мистериум, в дизайне которого будет широко использована новейшая электроника. Одновременно залы музея станут учебными классами — своего рода тренажерами для развития детского воображения. Вот ребенок подходит к картине П.Фатеева «Путь к Плядаму» — а потом садится за компьютер, который уводит его в пространство картины: в этом простран-

90% фантастики — это макулатура. Так заявил когда-то американский писатель-фантаст Т.Старджон, и он прав. Вот и у нас открылись шлюзы — и на читателя хлынул мутный поток халтуры. Чтобы отловить в нем крупинки золота, надо стать старателем и вооружиться ситом, то есть методом отбора. В Америке такая проблема решена. Есть приз за лучшее НФ произведение, который вручают «профессионалы» — «Небьюла», и тот, что присуждают «любители» — «Хьюго». Некий аналог первого в России — приз «Аэлита», существующий с 1981 года. Тогда же фэн из Волгограда Б.Завгородний предложил создать и отечественный «Хьюго», получивший название «Великое Кольцо».

С 1986 года такой приз существует. Учредители его — Омская областная юношеская библиотека и КЛФ «Алькор».

Теперь о методе. Как определить лучшего? Простым голосованием? Но в таком случае роман, изданный 200-тысячным тиражом в Москве, явно получит больше голосов, чем изданный 20-тысячным в Хабаровске. Надо уравнивать шансы. Поэтому опрос проходит в два круга. Во многих КЛФ есть люди, которые лучше других разбираются в фантастике и стремятся прочесть все новые публикации. Они и выступают в качестве экспертов. Каждому из них предлагается назвать по десять лучших повестей (романов) и рассказов года. В итоговом списке набирается до 50-60 кандидатур. Но на один, скажем, роман указали как на лучший 7 человек, на другой — только двое. Те произведения, что названы менее чем тремя экспертами, убираются из списка. Остаются обычно 10-14 наименований. Они-то и включаются в анкету, которая рассылается всем желающим с просьбой оценить указанные вещи по 10-бальной шкале.

На первом круге, таким образом, ничего не оценивается — только сужается поисковое поле. А на втором этапе, в готовых анкетах, обязательно указываются источники, где были опубликованы данная повесть или рассказ. Читателю прямо указывают: где и что искать.

Итогом такой верной политики отбора, далеким прообразом которой и является «Хьюго», стало, например, в 1990 году первое место Л. и Е.Лукиных, напечатанных в провинциальном «Литературном Киргизстане», а не публикации в журналах с миллионными тиражами. Эффект тиражей и места издания сводится к минимуму. Причем когда результаты уже подведены, окончательный список с баллами наглядно показывает: кто были соперники лидера и жесткой ли была борьба.

Ну, а приз «Великое Кольцо»... Он вручается лучшему.

Важно, правда, еще отметить, что изготовлены последние призы на средства фэна из Омска Николая Кабакова, а сделал их фэн из Нижнего Новгорода Сергей Лифанов.

стве можно действовать с огромным числом степеней свободы.

Космическая игротка — космический Диснейленд: это обязательно будет на Тулоне.

Мировоззренческой основой нашей работы является Крита-Йога. Что такое Крита? На санскрите данное понятие несет следующие смыслы: «полнота», «совершенство». Ориентированная прежде всего на ценности христианства, Крита-Йога стремится к полному, совершенному охвату всех позитивных накоплений человечества. Она устремлена к синтезу. Поэтика текстов Крита-Йоги необычна, — скорее это своеобразная неомифология, с элементами игры и фантастики, которые адаптируют читателя к небывалому: приему космической информации. Ведь в текстах Крита-Йоги с нами разговаривают миры Овна и Ориона; эти тексты уводят читателя за космический горизонт событий — к другим вселенным, к другим измерениям. Крита-Йога помогает читателю взглянуть на себя, на земную цивилизацию с космической точки зрения — и это несомненно содействует расширению его сознания.

Мы создаем свой центр для всех россиян. И потому приглашаем всех тех, кому окажутся близкими наши идеи, к широкому сотрудничеству.

Юрий ЛИННИК,
доктор философских наук,
руководитель КЭЦ им. Н.К.Рериха

Юрий Владимирович Линник — необыкновенно интересный человек, на протяжении многих лет с фантастической целеустремленностью создававший свой поистине уникальный Музей космического искусства. Его энтузиазм заразителен: можно часами, к примеру, слушать его рассказы о художниках первой трети века, поражаясь забытым нами фактам, свидетельствам высокой духовности тех людей... С этой же фантастически неиссякаемой энергией он реализует теперь свой новый, еще более глобальный замысел — и мы желаем успеха ему, и искренне верим в этот успех: не можем не верить!

Юрий Владимирович — не только доктор наук, но и известный поэт, чьи стихи обращены к природе и, к слову сказать, тоже глубоко философичны. В последние годы он пишет также философско-фантастическую прозу — информацию о ряде его произведений мы давали в библиографическом обзоре НФ новинок 1991 года (см. «УС», 1992, № 10); за прошлый год к ним присоединилось немалое количество новых выпусков. Поскольку издаются они небольшими тиражами и распространяются непосредственно автором (а точнее — возглавляемым им Музеем), для интересующихся даем адрес: 185005, Петропавловск, ул. Володарского, 1-58, Музей космического искусства, Ю.В.Линнику. Для получения ответа (как и в случае с анкетой омского КЛФ) необходимо вложить в письмо конверт со своим адресом.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ПАМЯТЬ

Кроссворд по произведениям А.С.ГРИНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Прозвище Леаля Ара. 3. Судно дядюшки Гро. 6. Город, в котором родился Тиррей Давенант. 8. Остров, на котором произошло массовое самоубийство. 9. Самостоятельная глава рассказа «Наследство Пик-Мика». 11. Имя стрелка из Зурбагана. 13. Камни у мыса Гардена. 14. Персонаж рассказа «Черный алмаз». 19. Пароход, на котором Бангок ехал из Австралии в Китай. 22. Кличка черной гвинейской крысы. 23. Герой рассказов «Путь» и «Племя Сиург». 25. Имя отца Артура Грэя. 27. Источник минеральной воды, открытый Таймоном. 29. Основатель города Гель-Гью. 31. Река в рассказе «Дьявол Оранжевых Вод». 36. Персонаж рассказа «Медвежья охота». 37. Создатель статуи «Бегущая по волнам». 39. Имя дочери Матиссена Пэда. 40. Гроза Сигнального Пустыря, предместья Лисса.

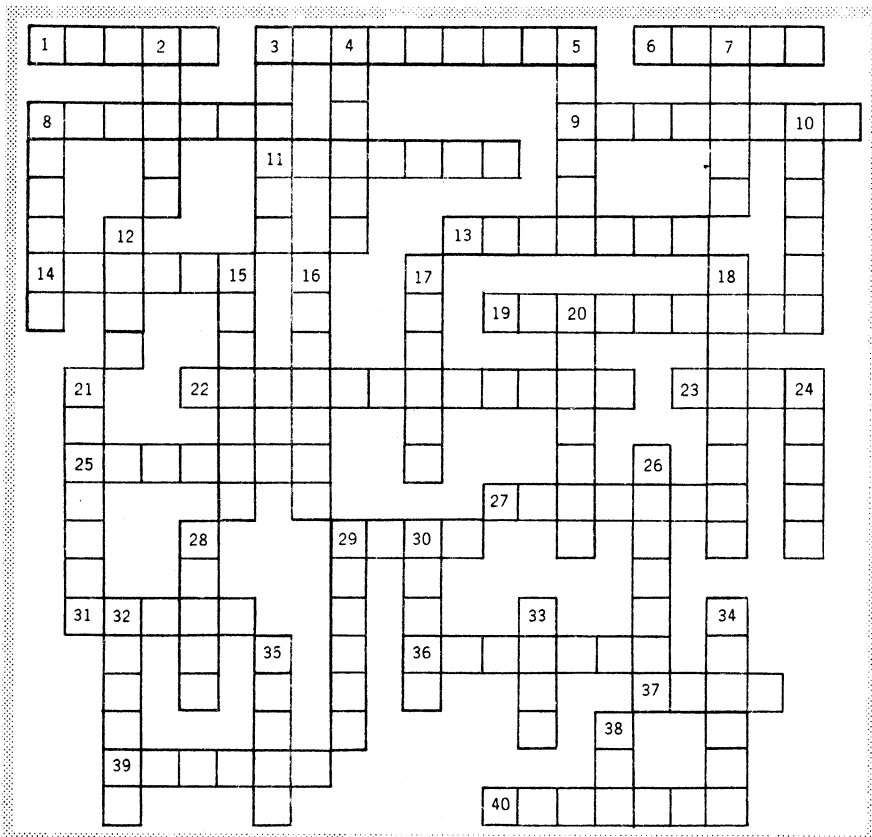
ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Яхта Энниока. 3. Персонаж романа «Золотая цепь». 4. Помощник капитана «Секрета». 5. Корабль капитана Эстампа. 7. Кафе в Кордон-Брюне. 8. Персонаж романа «Бегущая по волнам». 10. Гувернантка дочерей Футроза. 12. Герой рассказа «Золотой пруд». 15. Автор «Историй торгового мореплавателя». 16. Зурбаганский журнал, напечатавший портрет путешественника Жилия Седира. 17. Хозяин гостиницы «Парус и пар». 18. Книга, весьма заботившая дядю Руны Бегуэм, мистера Дауговета. 20. Название цирка, в котором выступал Друд. 21. Река близ Лисса. 24. Имя одной из дочерей Футроза. 26. Туземный плод, замечательный на вкус, но обладающий отвратительным запахом. 28. Судно Финеаса Проктора. 29. Штурман корабля «Фитиль на пороже». 30. Имя жены капитана Орсуну. 32. Архитектор, построивший дворец для Ганувера. 33. Клоун из романа о Друде. 34. Героиня рассказа «Жизнь Гнора». 35. Имя жены Леона Штриха. 38. Рассказ А.С.Грина.

Составила И. МАТВЕЕВСКАЯ
(с.Петровское Московской обл.)

Ответы на ребусы
«ПЕРСОНАЖИ ФАНТАСТИКИ»
(№ 4, 1993)

1. Колесник. 2. Алиса.
3. Дракон. 4. Робот.



Диана Осиповна решительными шагами удалилась в каптерку. Через пару минут послышалось: — Афанасьев!

Гошка Афанасьев сделал скорбную мину, помахал рукой: прощайте, товарищи. И пошел... С минуту из-за двери слышались неразборчивые голоса. Потом Гошка появился с дневником и скорбно прочел:

— «Злостно нарушал дисциплину, отказался ехать в подшефный совхоз. Родителям явиться в школу»!.. — И сообщил: Вытащила у всех дневники, сложила стопкой и спрашивает: «Поедешь?! Нет?» И катает ручкой на полстраницы...

Кинтель не боялся неприятностей из-за отказа от поездки. Дед поймет. Но сердце нехорошо застучало, когда услышал, что Диана шарила в портфелях... А та выкрикнула: «Корабельников!.. Бражников!.. Левин!» И все шли в каптерку и выходили с одинаковым выражением лица. Пускай, мол, пишет, не пропадем...

Кинтель с тревогой и нетерпением ждал, когда и его позвут перед разгневанными очами. Чтобы получить запись и поскорее убедиться, что книжка на месте. Ждал и... не дождался...

Диана возникла в дверях.

— Все! С теми, кто и на самом деле не поедет, разговор будет на родительском собрании. С директором и завучем!.. — И стук-стук каблуками к выходу.

— А я?! — сказал Кинтель. — Меня-то не зывали!

Диана Осиповна с удовольствием сообщила:

— А ты, голубчик, после урока явишься в кабинет Зинаиды Тихоновны. И никуда не денешься. Потому что портфель твой уже там. У нас будет до-олгий разговор...

Их как скверно стало Кинтелю. Сразу понял: это все-таки случилось.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

Уже после, много времени спустя, Кинтель сообразил, как портфель попал в кабинет к завучу. Судя по всему, Диана открыла в каптерке тесное оконце и кого-то окликнула в школьном дворе: «Отнесите, пожалуйста, это к Зинаиде Тихоновне...»

А пока не кончился второй час труда, Кинтель маялся. Внешне он был спокоен, зачищал рукоятки и даже мурлыкал под нос. А внутри его поедом ела тревога. И полчаса показались ему тягучими, как жвачка.

Едва грянул звонок, он бросился на второй этаж, к двери с табличкой «Завуч».

Завучей в школе было несколько, но Зинаида Тихоновна — главная над ними. И даже над директоршей Таисией Дмитриевной — в тех вопросах, которые касались учебы. Потому что Таисия Дмитриевна по уши была занята хозяйственными делами, а школьные программы, уроки, дисциплина — все это на выносливых плечах Зинаиды Тихоновны. И тем не менее она была доброй теткой — это все признавали. Высокая, худая, с длинным, складчатым лицом, в очках-колесах и с девчоночьим хвостиком на темени, она и на завуча-то не была похожа. А походила на моложавую бабушку из какого-то детского фильма — притворно-сердечную, но хорошую в душе. И если бы по какому-то другому вопросу, Кинтель шел бы к ней без всякой робости. Но сейчас понимал — книга...

Он стукнул в дверь, услышал «заходи», вошел. Встал у косяка.

— Здравствуйте... — И глаза в окно. Однако успел разглядеть, что в комнате трое. Кроме Зинаиды Тихоновны и Дианы, еще незнакомый дядька — лысый, с кустиками рыжеватых волос над висками, но молодой. В модной куртке, в маленьких блестящих очках.

— Здравствуй, здравствуй, Рафалов... — Зинаида Тихоновна добродушно и в то же время сокрушенно закивала. — Ну, выкладывай, что натворил?

— А что? — сказал Кинтель. — Я и сам не понимаю! Всем прямо там, в мастерской, записи вляпали, а меня сюда...

— Не прикидывайся! Дело не в записи! — Диана водрузила на стол портфель и — конечно же! — достала из него «Морской устав». — Откуда у тебя это?

Ох и дурак же ты, Салазкин! Догадался, прищипил... Как теперь спасти тебя от беды?

Кинтель понимал, что дело безнадежное, но все же произнес в пространство:

— Как откуда? Из портфеля. Сами вытащили...

— Рафалов, Рафалов... — укоризненно сказала Зинаида Тихоновна. А Диана часто задышала:

— Не придуривайся! Ты прекрасно понимаешь мой вопрос!

— Я другого не понимаю. Почему вы по чужим портфелям лазите? У вас что, ордер на обыск есть?

— Рафалов! — волосяной хвостик на темени завуча встал торчком, очки перекошились.

— А что «Рафалов»! — со звоном сказал Кинтель. — Во всех газетах и передачах о правах человека трубят, а на самом деле... беспредел какой-то! Мой портфель — моя собственность! А вы...

— А книга — тоже *твоя собственность?* — ехидно перебила Диана.

— А это не ваше дело!

— Рафалов! — С Зинаиды Тихоновны слетело добродушие. — Ты хочешь загреметь из школы?

— Во-во! — сказал Кинтель, ощущая, как наполняет его спасительная злость. — Я и говорю: права и демократия.

Диана воззрилась на лысого. Тот проговорил с ленцой:

— Никакие права не нарушены. Это был не обыск, а предварительный досмотр. Подтверждаю как юрист. И во избежание дальнейших недоразумений — вот, прошу... — Он вытащил из-за пазухи коричневые «корочки», развернул перед Кинтелем. Тот увидел очкасто-лысую фотографию, лиловую печать, тушью написанное имя: «Глебов Андрей Андреевич». И мелкие слова: «следователь... районного...» Корочки хлопнулись.

— Ну и что? — сказал Кинтель. А по жилкам растеклась противная слабость. Неужели это по правде? Успели вызвать из милиции? Ради такого дела?

— Как «ну и что»? — возмутилась Диана. — Ты не собираешься отвечать даже следователю?

— А чего отвечать-то?

Бесполезно все это было, но выдать Салазкина Кинтель не мог. Пусть хоть в тюрьму везут!

— Даня Рафалов! Тебя спрашивают: откуда у тебя эта книга? — с расстановкой произнесла Зинаида Тихоновна.

— Да мало ли откуда! — Злые слезы закипели в Кинтеле. Но пока глубоко внутри. Он ошестиненно глянул в блестящие стекляшки следователя («Как у Берии!») — Что вы меня допрашиваете?! Краденая она, что ли?! Вы меня вором считаете?! Сами залезли в чужой портфель, а теперь...

— Каждый учитель вправе посмотреть, нет ли в портфеле ученика посторонних предметов, — назидательно сообщила Зинаида Тихоновна. — Вон, в четырнадцатую школу недавно взрывпакет принесли...

— Это не взрывпакет! Что, нельзя в школу с книгой прийти?

— Это *посторонняя* книга, — сказала Диана. — Посторонние книги приносить незачем.

— Я и не приносил. Это мне принесли почитать...

— Кто? — увесисто сказал следователь Глебов.

— Не все ли равно... Почему я обязан говорить?!

— Потому что тебя спрашивает представитель следствия! — взвилась Диана.

— И все по закону, — ровным голосом разъ-

яснил Глебов. — Тебя допрашивают в присутствии педагогов как несовершеннолетнего. Задают четкие, конкретные вопросы. А ты юлишь...

— Сначала скажите, в чем я виноват... — Слезы подло подошли к верхней черте.

— Книга очень ценная! — спокойно (видимо, подражая следователю) разъяснила Диана. — Раритет. То есть музейная редкость. И мы вправе знать, как она оказалась в школе...

— Мы отвечаем за все, что происходит в стенах школы, — вмешалась Зинаида Тихоновна. — Поэтому и хотим выяснить: кто тебе эту книгу дал? Неужели так трудно ответить?

Кинтель хрипло сказал:

— Чья книга, тот и дал...

— Не ври! — Диана хлопнула по столу. — На книге печать: «Библиотека профессора А. Эм. Денисова!» Профессор тебе ее дал? Денисов А. Эм?

«Ну, вот и все», — понял Кинтель. Но огрызнулся — из-за одного уже упрямства:

— Там еще написано: «Книга корабельного мастера Василия Алексеева... сына Селянинова»...

— Видите, как он крутит нам мозги! — торжественно заявила Диана. — Корабельный мастер тут, голубчик, ни при чем, царство ему небесное. Книга эта — профессора. И я уже звонила в университет, чтобы выяснить, откуда она у тебя. К сожалению, на кафедре сказали, что Александр Михайлович ушел и будет лишь через час.

— Неправда! Он в колхозе! — вырвалось у Кинтеля.

— Нет, правда! А вот ты лжешь и крутишься!

«Врет? Или в самом деле звонила? Значит, Салазкин придумал, что отец на картошке? Или...»

— Постойте, постойте, Диана Осиповна! — Зинаида Тихоновна, кажется, обрадовалась. — Ведь у нас учится сын профессора Денисова, я вспомнила! В этом году поступил, в пятый «Б»!.. Даня, это он дал тебе книгу?

Это была уже развязка, никуда не денешься. Но Кинтель молчал. Во-первых, в горле застряла шероховатая пробка, а во-вторых... нет, не будет такого, чтобы он, Кинтель, выдал Салазкина своим собственным языком.

— Это он тебе дал? — повторила Зинаида Тихоновна.

Кинтель сжал губы. Диана подошла к нему вплотную:

— Ну?

Следователь Глебов сидел на стуле у стены, положив ногу на ногу. С любопытством поглядывал на всех и словно ждал чего-то. И вот наконец он снисходительно проговорил:

— Я уже беседовал с сыном профессора Де-



нисова. Тот утверждает, что никогда не давал никаких книг этому ... Рафалову.

Пол буквально поехал из-под ног Кинтеля! Как во сне! Правда, на один миг... Кинтель затылком прижался к дверному косяку. «Салазкин... неужели он мог такое?»

Как живого увидел Кинтель Саньку Денисова перед собой. Беззащитного и отважного, с зеленью честных глаз... Кинтель откашлялся и с великим облегчением сказал Глебову:

— Я думал, вы по правде следователь. А вы проходимец...

— Негодяй! — Диана взвизгнула и дала Кинтелю оплеуху. Вернее, хотела дать. Кинтель откачнулся, и она врезала пальцами по косяку. Тонко заскулила, прижала к губам мизинец. Кинтель отскочил. Глебов подбежал:

— Дианочка, что с тобой?.. Кожа содрана! Зинаида Тихоновна, у вас есть йод?

Та засуетилась, запричитала что-то, полезла в ящик стола.

Кинтель отошел на два шага. Сказал оттуда, ощущая удивительную смелость:

— Если вы следователь, что же вы закон не защищаете? Когда ученика в школе бьют!

Завуч с коричневым пузырьком выбралась из-за стола.

— Ты, Рафалов, сам спровоцировал... И никто тебя не задел, Диана Осиповна сама пострадала... Ничего страшного, ссадинка...

— А если бы я не уклонился? — непримиримо сказал Кинтель.

Глебов дул на пальцы «Дианочки». Та глянула на него из-за плеча — глаза мокрые, щеки пятнисто-розовые.

— Как ты, мерзавец, смеешь оскорблять взрослого человека? Сопляк!.. Зинаида Тихоновна, этого... уголовника у меня в классе не будет! Я его давно знаю! Помню! Он еще в шестилетнем возрасте... позволял себе поливать взрослых... отборными словами!.. Или я сама... откажусь от классного руководства!..

— Ладно, ладно... — Зинаида Тихоновна обрела спокойствие. — Нам всем следует остыть. И разобраться наконец с этим делом. — Она мимо Дианы и Глебова высунулась в дверь: — Кто-нибудь... О, Геннадий Романович, помогите нам, пожалуйста! Попросите кого-нибудь узнать в пятом «Б», нет ли там Саши Денисова. Если еще не разошлись... Это новичок.

— Да знаю я! — послышался веселый голос Геночки. — Он пасется рядышком. Попытал меня, куда девался после уроков Рафалов, а я говорю: повлекли в геенну... Кстати, не понимаю, чего Диана взъелась на него... Ох, пардон, Диана Осиповна, я вас не заметил. Мое почтение, Анд-

рей Андреевич... Эй, Денисов! Давай сюда, тут тобой тоже интересуются...

Салазкин шагнул в кабинет (Геннадий Романович — за ним, встал у двери). Глебов быстро сел на прежнее место. Завуч и Диана отошли к окну, Диана все еще дула на мизинец.

Салазкин интеллигентно сказал «здравствуйте» и теперь слегка испуганно смотрел на Кинтеля.

Зинаида Тихоновна ровностью тона попыталась показать, что ничего особенного не произошло:

— Саша, будь добр, подойди к столу, надо решить один вопрос. Пожалуйста.

Салазкин поправил косое крыло прически и сделал несколько широких шагов. Увидел книгу, замер...

— Саша, скажи, ты давал эту книгу Дане Рафалову?

Салазкин шевельнул головой, словно хотел оглянуться на Кинтеля. Не оглянулся. Сказал, глядя на завуча:

— Естественно... А что здесь плохого?

— Видишь ли... Книга крайне редкая, мы встревожились. Мало ли что...

— Извините, я не понимаю, — тихо, но отчетливо сказал Салазкин. — Что вас встревожило?

— Я же объясняю. Приносить такие ценности в школу не следует.

Кинтель увидел, как под клетчатой рубашкой шевельнулись и затвердели Санькины колючие лопатки.

— Извините, я не так спросил. Как вы узнали, что эта книга у Дани? — И он в конце концов оглянулся на Кинтеля.

Кинтель сказал ему:

— Шмон устроили по портфелям. Такие у нас в школе порядки... Да еще по уху попробовали врезать.

— Рафалов! — Это завуч.

— Если тебе порядки не нравятся, можешь выметаться! — вмиг завелась опять Диана. А Глебов сообщил опять от стенки:

— С такими задатками спецшкола для трудных была бы, конечно, уместнее.

И тогда вдруг выступил Геночка:

— А что, Диана Осиповна, ваш жених приходит в школу не просто навещать вас? Осуществляет еще и правовое воспитание? На общественных началах?

Вот оно в чем дело!

Кинтель и Салазкин смотрели друг на друга, и стремительно разматывался между ними молчаливый разговор-объяснение:

«Видишь, как получилось! Я же не зря боялся... Я не виноват...»

«Мы оба не виноваты!»

«А что тебе теперь будет?»

«Не бойся...»

«Я не говорил, что это ты дал книгу!»

«Я понимаю».

Диана Осиповна между тем вознегодовала на Геночку:

— А вас, Геннадий Романович, я просила бы не вмешиваться!

— Отчего же, уважаемая Диана Осиповна? Рафалов — он ведь и мой ученик тоже. Когда вы сегодня пришли в мастерскую и устроили... гм... воспитательную беседу, я ведь не протестовал... Впрочем, «шмон» в портфелях я не санкционировал. Зинаида Тихоновна, заявляю это официально.

— Товарищи, товарищи... Оставим наши педагогические проблемы на потом, здесь дети...

— С которыми Геннадий Романович всегда запанибрата! И распустил! — не унималась Диана.

— Наверно, потому, что по уху никого не бью...

— То-ва-ри-щи! — возвысила командирский голос завуч. Все примолкли на миг. И в этой тишине Салазкин звонко спросил:

— Можно, я теперь возьму книгу и мы пойдем?

— Нет! — Диана метнулась к столу. Видимо, терпеть поражение по всем статьям ей не хотелось. — Книгу получит отец! Когда придет!.. Зинаида Тихоновна, разве можно доверять детям такую... реликвию!

— Но папа в отъезде!

— Вот поэтому ты и взял книгу без спросу... — с упреком заметила Зинаида Тихоновна.

Салазкин сказал медленно и очень вежливо:

— Простите, но мы с папой сами решим этот вопрос. Вдвоем.

— Вы решите его здесь! При нас! — объявила Диана. — Тем более что ты лжешь! Отец вовсе не в отъезде! Я звонила на кафедру, и мне сказали, что он на работе! Только вышел куда-то!

Салазкин опять оглянулся на Кинтеля. Тот пожал плечами. Диана торжествующе сказала:

— Ты можешь сам позвонить и убедиться. Тем более что отец уже, наверно, вернулся.

— Правда, можно позвонить? — Салазкин посмотрел на завуча.

Та, кажется, обрадовалась:

— Да! И... попроси папу прийти сюда. — Она повернула к Салазкину красный блестящий телефон.

Салазкин снял трубку. Потянулся к диску пальцем, замер на миг, будто вспоминая номер. Быстро завертел. И...

— Это Саня. Добрый день... Да, я так сказал...

В своей школе, в кабинете завуча. Знаешь адрес? Хорошо... Я дал Дане Рафалову, я тебе говорил о нем, книгу «Морской устав». Ту самую... Надо было, об этом после!.. Его портфель обыскала учительница, книгу отняла. Теперь нас в чем-то обвиняют... Чуть ли не в краже! Даню ударили... Да! — И положил трубку.

— Что такое?! — Зинаида Тихоновна затрясла волосняным хвостиком. — Зачем ты так?! Ты... это папе звонил?

С незнакомым тяжелым спокойствием Саня Денисов сказал:

— Я звонил кому следует... Можно, я пока сяду? У меня болит нога... Придется подождать... — Он глянул на круглые настенные часы, — шесть минут. Нет, теперь уже пять...

— Ты папе звонил?

— Сейчас приедет, — уклончиво ответил Салазкин. Прихрамывая, отошел от стола. Спинай вперед. Опять посмотрел на Кинтеля. Решительно так, незнакомо.

— Сядь... — Зинаида Тихоновна забеспокоилась. — Что у тебя с ногой?

— Пустяки. С дерева прыгнул, чуть подвернул... — Салазкин отступил к стене, где стояли четыре стула. На ближнем к столу сидел Глебов. Салазкин сел на самый дальний. Потрогал на коленке бородавку. Опять стрельнул глазами в Кинтеля — уже с веселыми искорками. Вскинул глаза на часы. Он явно не боялся.

А Кинтель боялся. Вновь. Вот появится отец, будет Саньке на орехи! Если не здесь, то дома. И кончено: «Не смей связываться с этим...» Как Диана сказала? «С уголовником».

А завуч все тревожилась:

— Может быть, показать ногу медсестре?

Салазкин сказал беззаботно:

— Не стоит, у меня ступня то и дело подворачивается, слабые связки. С возрастом пройдет... — Он согнулся, потер щиколотку. Волосы упали на лицо. Сквозь них он опять посмотрел на Кинтеля.

— Здесь калечат, здесь и лечат, — сказал Геночка. — Целых две травмы, не считая моральных.

— Геннадий Романович...

Зинаида Тихоновна не договорила. С вежливым «разрешите?» шагнул в открытую дверь, мимо Геночки, человек в черной болоньевой куртке, с красным мотошлемом в руке. Молодой, с тускло-медным ежиком волос и пыльно-коричневым лицом. Сквозь этот налет или загар проступали темные веснушки. И глаза на таком лице казались пронзительно синими, с очень яркими белками.

Человек прошелся этими глазами по всем, кто был в кабинете. Сказал ровно и уверенно:

— Здравствуйте... Я не спрашиваю, сюда ли я попал, поскольку вижу Саню Денисова. Позвольте представиться. Вострецов Даниил Корнеевич, представитель конфликтной комиссии при областном Детском фонде. Так сказать, группа быстрого реагирования... Могу я поинтересоваться, что произошло?

С четверть минуты продолжалось общее удивление, обалделость даже. У всех, кроме Салазкина. Он поднялся со стула и не то чтобы заулыбался, а засветился весь. И Кинтель, глядя на него, тоже ощутил радость. Ничего еще он не понимал, но почуял, что дело, кажется, может обойтись без отца.

Первой пришла в себя Зинаида Тихоновна. Оно и понятно: будучи завучем, нервы натренировала она, как летчик-испытатель.

— Насколько могу судить, у нас ничего не произошло. По крайней мере *такого*, что требовало бы присутствия... столь ответственных представителей.

— Боюсь, что здесь мы разойдемся во мнениях, — учтиво сообщил Даниил Корнеевич Вострецов. — Саня...

— Да, — звонко откликнулся Салазкин. — Почему нас допрашивают, как воров? И книгу отобрали! И... Даня говорит, что его ударили!.. Я принес ему из дома папину книжку почитать, а они... — у Салазкина со слезным дрожанием сорвался голос.

В наступившей тишине Вострецов отдельно произнес:

— Прошу прощения, но мне хотелось бы задать несколько вопросов.

— По какому праву?! — вскинулась Диана. — Кто вы такой?!

— Я ведь уже объяснил, *кто я такой*. Если угодно, вот удостоверение... члена комиссии детфонда, нештатного корреспондента «Молодежной смены»...

— А вы нас не пугайте, молодой человек, — величественно произнесла завуч.

— О Господи!.. Ну почему, как начинаешь разговаривать с педагогами, сразу «не пугайте»? — в голосе Вострецова еле заметно заискрилась насмешка. — Я не пугаю, а выполняю свои обязанности, уважаемая Зинаида Тихоновна... Я ведь правильно назвал ваше имя? Я помню вас по выступлению на президиуме, вы очень убедительно говорили, что необходимо всегда соблюдать интересы детей...

— Вот об этом бы и написали в своей газете!

— Со временем, если пожелаете. Но сейчас я вызван по конкретному поводу.

— Да кто вас звал?! — взвилась опять Диана.

— Как кто? — удивился Вострецов.

— Я звал! — вмешался Салазкин. — Вы же слышали!

— Лихо... — сказал у двери Геннадий Романович.

— Значит, ты звонил не папе! — возмутилась завуч, и у нее перекошились очки. — Я так и знала! Какое ты имел право?

— А разве не имел? — удивился Вострецов. — Каждый ребенок вправе просить о защите, если...

— О защите от *кого*? — Зинаида Тихоновна пальцем укрепила на переносице очки. Успокоилась, глянула с укоризной и незыблемой правотой. — От своих учителей?

— Увы... — сказал Вострецов.

— Чем же мы обидели Сашу Денисова? — Она устремила очки на Салазкина.

— Не меня, а Даню!.. И почему не отдаете книгу?

Вострецов посмотрел на него, на Кинтеля, на учителей. Покачал снятым шлемом. Вдохнул.

— Насколько я понимаю, имело место следующее: несанкционированный обыск, изъятие не принадлежащей вам ценности и применение физических мер воздействия при допросе... Ибо иначе как допросом такую беседу не назовешь.

— Ну что вы такое говорите! — Зинаида Тихоновна от старательного пренебрежения сморщила лицо. — Диана Осиповна хотела выйти, попыталась отодвинуть мальчика с дороги, у нее сорвалась рука... Видите, она даже палец поранила о косяк...

— Гм... — Вострецов неуволимо повеселел. — А разве нельзя было попросить мальчика посторониться?

— Я спешила! — взорвалась Диана. — Я не могла оставаться тут, когда... этот... оскорбляет взрослых людей!

— *Взрослых* людей оскорблять, естественно, не следует, — согласился Вострецов. — А кого именно и как оскорбил этот ученик?

Возникло секундное замешательство. Но тут же насмешливо внес ясность Геночка:

— Ученик Рафалов назвал проходивцем Андрея Андреевича, будущего супруга Дианы Осиповны... вот его-с... Андрей Андреевич зашел навестить Диану Осиповну и, будучи работником следственного аппарата, принял посильное участие в разборе дела...

— Геннадий Романович! Это переходит всякие границы! Вы же педагог, а не... Вам совсем безразличны интересы школы? — Зинаида Тихоновна гневно уперлась в стол кулаками.

— Совсем не безразличны. Иначе кто бы мне мешал уйти в кооператив «Орбита», где зарплата в пять раз выше здешней? Пацанов только жаль...

Вострецов смотрел на Андрея Андреевича Глебова.

— Прошу прощения. Вы в самом деле следователь?

— Да. И я не видел причины, почему бы не помочь педагогам.

— Но такие процедуры, очевидно, должны оформляться юридически. Протокол и так далее...

Глебов хмыкнул и отвернулся: мелете, мол, чепуху.

В Кинтеле кипятком взбурлила обида:

— Скажите, а следователь имеет право врать?

— В смысле?.. — спросил Вострецов.

— А вот он... сказал, что допрашивал Салазкина... то есть Саню, еще раньше. И будто Саня говорил, что не давал мне никакой книги! И выходит, что я украл... — (Ох, не разреветься бы! Вот будет скандал!).

Вострецов медленно, словно заболела шея, повернул голову к Андрею Андреевичу.

— Вы в самом деле так сказали мальчику?

Тот покачал ногой в замшевой туфле. Пожал плечами. Разъяснил снисходительно:

— Это был маленький психологический эксперимент. Что такого?

Вострецов мизинцем поскреб веснушчатый подбородок. Проговорил, тщательно подбирая слова:

— Я выполняю сейчас официальные обязанности, и только это обстоятельство не дает мне возможности присоединиться к энергичной и емкой характеристике, которую дал вам мой тезка Даня Рафалов...

Диана пискнула и кинулась из кабинета — Геночка еле успел отскочить. Глебов поднялся.

— Я полагаю, мы еще встретимся, гражданин... Вострецов, кажется?

— Полагаю, что встретимся, гражданин... Андрей Андреевич... — Вострецов посторонился, пропуская Глебова, который спешил за невестой. И сказал Зинаиде Тихоновне: — Думаю, что конфликт можно свести к минимуму, если мальчикам вернуть книгу и портфель и если Дане Рафалову принесут извинения за... гм... попытку излишне резко отодвинуть его от двери... Впрочем, извиняться уже некому.

— Не нужны мне ее извинения, — сипловато сказал Кинтель.

— Даня, что у вас происходит с Дианой Осиповой? — произнесла Зинаида Тихоновна очень педагогическим тоном. — Может быть, есть смысл собраться и вместе выяснить раз и навсегда? А то она ужасно недовольна тобой.

Кинтель сумел усмехнуться:

— Мы по-разному относимся к «Тарасу Буль-

бе». И к казацким обычаям... А еще поспорили сегодня насчет картошки. В газетах пишут, что ребятам запрещено посылать, а...

— А вас что, посылают? — быстро спросил Вострецов.

— Ага! Завтра. А ребята, конечно, зашумели. Потому что студенты недавно поотравлялись на полях, теперь, значит, нас...

— Какая чушь! — всполошилась Зинаида Тихоновна. — Это всего лишь на один день! На поддня! Шефы просили! На совершенно безопасное поле!.. Мы же не враги своим детям!

Вострецов медленно и веско проговорил:

— Существует Указ Госкомитета по образованию, запрещающий привлекать школьников к сельским работам в учебное время.

— Но как быть, если урожай...

— Пора уже понять, что спасать урожай и латать экономику страны детскими руками бессмысленно... Есть, кстати, и письмо Детского фонда на этот счет. Я не говорю уже о Декларации прав ребенка, ратифицированной Верховным Советом. Она тоже запрещает детский труд...

— Господи, да это же в плане трудовой практики! Для зачета... Да и ничего еще не решено. Скорее всего, никто никуда не поедет, погода портится... — И Зинаида Тихоновна устремила взгляд за окно, где светился безоблачный теплый вечер. Геннадий Романович тихо хмыкнул и ушел за дверь.

Зинаида Тихоновна обернулась к Салазкину. С доброй укоризной:

— Ох, Денисов, Денисов... Неужели мы сами не сумели бы во всем разобраться? Устроил панику, сорвал с места человека...

— Ничего, работа такая... — сказал Вострецов. — Если позволите, ребята возьмут книгу и мы пойдем...

Из школы вышли втроем. У крыльца стоял мотоцикл — пыльная вишневая «Ява». «Могли угнать», — отметил про себя Кинтель. Вострецов словно услышал эту мысль. Весело объяснил:

— Я попросил добровольцев покараулить... Спасибо, ребята! — Он помахал рукой. Из клееной чаши (из засады) выбрались трое «продленочных» второклассников. Гордые такие...

Вострецов выкатил мотоцикл на обочину. Протянул Салазкину ладонь. Тот с размаха, весело, вложил в нее свою ладошку:

— До встречи! — Сразу видно: хорошие знакомые.

Вострецов протянул руку и Кинтелю:

— Ну, будь здоров, тезка. Еще увидимся... — Он вскочил в седло и газанул с места. Умчался.

— Кто он такой? — спросил Кинтель напря-

женно. Потому что чувствовал себя виноватым. Портфель с «Уставом» оттягивал руку. (Сейчас проводить Салазкина до дому, отдать ему книгу — и с плеч долой).

— Это... — начал Салазкин весело и вдруг притих. — Ой... папа...

От перекрестка шагал к школе профессор Денисов. Кинтель узнал его сразу. Салазкин шепотом сказал:

— Значит, правда приехал... Наверно, ему сообщили на кафедре, что кто-то звонил из школы, вот он и торопится...

— Хана, — выдохнул Кинтель.

Салазкин тряхнул волосами.

— Какая чушь! Папа, он все понимает... Даяня, а можно будет сказать ему про фотографию и про шифр? Чтобы все объяснить...

— Говори, — печально разрешил Кинтель. И подумал: «Если поможет».

Тогда Салазкин закричал:

— Папа, мы здесь! — И, прихрамывая, побежал навстречу отцу.

МЫС СВЯТОГО ИЛЬИ

В старинный подсвечник на столе деда Кинтель вставил новую свечу. Зажег. Выключил во всей квартире свет. Настроился на таинственность... В дверь застучали. Кинтель чертыхнулся, пошел открывать. Это явился сосед Витька Зырянов.

— Айда на пустырь! Там наши парни костер жгут, картошку испечем. Вовчик Ласкутин гитару принесет...

— Некогда мне.

Витька глянул через плечо Кинтеля в комнату.

— У вас же, свет вырубил? Почему свечка?

— Кодую, — сумрачно сказал Кинтель. — Дух прапрабабушки вызываю. Спиритизм называется. Слышал?

— Не-а...

— Ну, ладно, гуляй...

Витька, однако, не уходил.

— А корешок твой новый, он ничего... крутой пацан. Мы в субботу с Бусей подходим на перемене, спрашиваем: «Ну чё, труханул тогда?» А он: «Глупый, — говорит, — тебя-то, — говорит, — я мог носом в траву положить за секунду...» А Буся, зараза, ржет. Я говорю: «Ты, пионер, наверно, малость того, да?» А Буся: «Спорим на рубль, что Витьку не положишь?» Он и говорит: «Ну, спорим. Только ты, Витя, не обижайся, пожалуйста». Культурно так... Я ему: «Ты сам потом не обижайся...» А дальше ничего понять не смог: ка-ак меня крутануло! И лежу — рожей в лопухах...

«Ай да Салазкин!» — весело подумал Кинтель.

— Рубль-то Буся отдал?

— Да он не взял! Засмеялся, а тут как раз звонок...

— Ладно, гуляй, — опять сказал Кинтель. И вернулся в полумрак. «Ай да Салазкин...» Однако даже такой приятной мыслью не хотелось разбивать прежнее настроение. То самое, со свечой...

Кинтель, конечно, играл. Потому что, если здраво рассуждать, заниматься расшифровкой было гораздо удобнее при электричестве. Но хотелось загадочности. Того состояния души, когда она откликается на зов приключений.

Хорошо, что деда не было дома, он позвонил, что вернется поздно. Никто не мешал. Текла Войцеховна из полутьмы смотрела с портрета на праправнука строго и выжидательно. Стало даже немного... ну, не то чтобы страшновато, а слегка «замирательно». И хорошо.

Кинтель подтянул к столу дедово скрипучее кресло, забрался в него с ногами. Положил на сукно снимок вверх оборотной стороной. И медленно, в соответствии с важностью момента, снял со шпеньков узорчатые пряжки «Устава».

Да, книга была у него. Потому что там, на улице, отец Салазкина сказал мягко, но решительно:

— А «Устав» ты, Даяня, возьми себе домой. На несколько вечеров... Возьми, возьми, не спорь. Тайны надо разгадывать обязательно... Признаться, мне и самому любопытно. Поделишься, когда расшифруешь? Если, конечно, там нет семейного секрета, который нельзя разглашать...

— Поделюсь, — буркнул Кинтель. Он был тяжело смущен всем случившимся. А Салазкин, тот, наоборот, — чуть не пританцовывал от радости, что так хорошо закончился разговор с отцом.

Разговора этого Кинтель не слышал. Потому что Салазкин убежал навстречу отцу, встал перед ним, взял его за бока, запрокинул голову и заговорил негромко и быстро. Один раз оглянулся на Кинтеля. Профессор Денисов тоже на него посмотрел. А потом все смотрел на сына, не перебивал его долгую и, кажется, сбивчивую речь... Дальше случилось неожиданное: отец взял Салазкина пятерней за макушку, мотнул его голову, взлохматил сыну волосы. Кинтель стоял поодаль, но видел это отлично.

Салазкин весело затряс головой, ухватил отца за рукав пиджака, повел к Кинтелю. Тот — глаза в асфальт. Потом поднял.

Профессор Денисов сказал дружелюбным басом:

— А я вас помню, молодой человек. На теплоходе встречались. Ну, здравствуй...



— Здравствуйте...

— Александр мой изложил все события...

— Вы его не ругайте, пожалуйста, — давсья от неловкости, попросил Кинтель.

Александр Михайлович жизнерадостно сообщил:

— А я уже отругал! За то, что вокруг простой ситуации нагородил столько сложностей... Ладно, пошли, добры молодцы... — Одной рукой ухватил он за плечо сына, другой — Кинтеля. Пришлось шагать. Кинтель сбивчиво проговорил:

— Сань, ты книгу возьми, положи в сумку...

Здесь-то Санькин отец и сказал, что не надо.

...Конечно, профессор Денисов понимал, что Даня Рафалов чувствует себя неудобно. И потому бодро заговорил с сыном:

— Ты почему косолапишь, друг любезный?

— Он в эти дни второй раз ногу подворачивает, — излишне ворчливо объяснил Кинтель. — Врачу надо показать.

— Не надо, уже все в порядке! — Салазкин запрыгал на одной ноге, а другой, подвернутой, весело заболтал. — Пап, ты почему так неожиданно приехал? Я даже не поверил...

— Что поделаешь. В соседней усадьбе трое студентов слегли, какая-то непонятная болезнь... «картофельный синдром». Мои подопечные за-

роптали. А я что должен? Позвонил начальству: говорю, что за каждого отвечаю. Картошка — дело важное, а люди дороже...

— У нас из-за этого сегодня тоже шум в школе был, — поделился Кинтель. — Хотели семиклассников послать. А ребята уперлись...

— Туда специальную комиссию посылать надо, а не ребят, — сказал Александр Михайлович.

Так подошли они к дому Кинтеля. Профессор предупредил:

— Только из квартиры книгу не выноси. Договорились? А то сам видишь, какие нынче времена и нравы... А потом принесете ее вдвоем с Саней. Двое — это гарантия.

Кинтель неловко кивнул. И глянул исподобья на Салазкина: «Ты сказал отцу, почему я не хочу к вам заходить?» И Салазкин так же — взглядом — ответил: «Да. Я все сказал. А как иначе? Не обижайся...»

Кинтель не обижался. Он радовался, несмотря на все, что случилось в школе... А может, и хорошо, что случилось? Теперь больше ясности, больше прочности. И отец Салазкина вроде бы даже как союзник...

Первое число на обороте снимка было $18\frac{18}{15}$. Кинтель нашел восемнадцатую страницу, отсчи-

тал сверху восемнадцатую строку. Начал считать буквы... Выпало на большую букву «К». Речь в строке шла про «великого Князя Иоанна Васильевича». При чем он тут, в «Морском уставе»? Ладно, потом разберемся... $23\frac{10}{18}$... Двадцать третья страница была с голландским текстом. Счет попал на W. У Кинтеля стукнуло сердце. W — значит, «вест». Намек на какие-то координаты!.. $35\frac{4}{10}$... Опять большое W!..

Но так не бывает! В обозначениях компасных румбов «вест» и «вест» не могут стоять рядом! Если «норд» с «нордом»: или «зюйд» с «зюйдом» — это бывает: например, NNO или SSW. А два «веста» или «оста» всегда разделены другими буквами... С первой минуты — путаница...

«А ты не ударяйся в панику с самого-то начала! Выпиши сперва все буквы, потом будешь разбираться!»

Снимок был размером с открытку. Числа покрывали всю обратную сторону. В строчке их было шесть или семь, а всех строк полтора десятка. Значит, около сотни букв...

А запятые и точки, если на них выпадает счет в книге, надо учитывать? Нет, конечно! Вот они, сами по себе, готовенькие, стоят между цифрами!..

Потом под счет попали на голландской странице две скобки. Их, наверное, надо. Тем более, что сперва левая скобка, потом правая — что-то заключают в себе... Пока не понятно, что именно... На клетчатом листке, куда Кинтель выписывает букву за буквой, получается сплошная абракадабра...

Может, вообще все это ерунда? Может, нет никакого шифра? Или разгадка совсем не в «Морском уставе»?

Кинтель жалобно и с досадой оглянулся на прапрабабушку. Резная рама чуть мерцала остатками позолоты. Текла Войцеховна смотрела из полутьмы слегка насмешливо. «Что-то вы, сударь мой, слишком рано отступаете...»

Ладно, поедem дальше... Выпала старинная буква «ять». И снова никакого смысла... Хорошо хоть, что все числа различимые. Острый грифель оставил на гладком картоне четкие следы, и даже там, где стерся графит и где запись попадает на буквы и виньетки с рекламой фотомастерской А.О.Молохова, все равно можно разобрать число. Поднесешь снимок ближе к свечке, повернешь так, чтобы свет падал сбоку, и вся цифирь выступает, будто смазали специальным проявителем... А свечка слабо потрескивает, и в окне черно, и тишина в доме, только что-то шуршит по углам и словно кто-то тихонько дышит за спиной. Уж не прапрабабушка ли?..

Если потряхнуть головой, мигом исчезнет вся таинственность. Услышишь, как за окном, на недалеком пустыре, бренчит гитара или как мурлычет на кухне динамик. Или как на дворе соседка Клава Зырянова, Витькина мать, ругает мужа... Но нет, не надо ничего прогонять. Может, в этом сумраке, при одиночной свечке как раз и придет разгадка?

Вот и последнее число: $710\frac{2}{1}$. Получилось «и».

А потом еще стоит восклицательный знак... Но что он означает? Словно вскрик на непонятном языке. На совершенно неизвестном! Потому что на листке оказалось вот что:

К W W т м с
 ъ N о ъ ы а
 о Иі О (-Н)
 в. л и с. Ш ъ
 S о ъ а у к
 О т М к ш и
 в л н с
 а у ъ ъ
 Б л с Л о ъ
 п ю ъ п д
 в ъ н ы м
 н ш е в е
 к ъ о а ъ
 о к п т
 с р г в и ъ
 т о о н з
 д а у а
 в ф т
 Н и и п м и
 а д и о н!

Кинтель охватил ладонями колючий затылок. Буквы словно танцевали в желтом свете неяркого огонька. Насмешливо так... И сквозь бессмыслицу сквозил какой-то намек. Неуловимый. Буквы дразнили: а вот догадайся, потряхни нас как надо, и мы встанем по порядку... Это, наверно, только казалось. Как ни крути — сплошная чепуха... Просто зло берет на Никиту Таирова!

А может, и правда «Морской устав» ни при чем?.. Но не зря же выпали два W и одно N. «Вест» и «норд». Осколки каких-то координат или направлений! А если...

Но короткую, чуть живую ниточку догадки оборвал телефонный звон. Резкий, оглушительный в этой тишине!

Кинтель дернулся, схватил трубку старого черного аппарата, который стоял за подсвечником.

Звонила Алка Баранова.

— Кинтель! Привет! Диана велела всех, у ко-

го телефона, обзвонить, что в совхоз не поедет. Чтобы завтра зря не тащились спозаранку.

Кинтель плюнул в сердцах. Про совхоз он уже и забыл. Сказал разозленно:

— Я и так не собирался! Ишак я, что ли?.. Трезвонишь среди ночи!

— Ты что! Какая ночь, девять часов! Или ты спать ложишься, как в детсадике?

Кинтель взглянул на часы. Фарфоровый старинный циферблат смутно светился слева от портрета. В самом деле: пять минут десятого! А казалось, полночи прошло!..

Он шумно вздохнул в трубку. Алка сказала:

— Ты в эти дни какой-то... как мешком ушибленный. То смотришь в пустоту, то с Дианой лаешься...

— Возраст такой, созревание начинается, — огрызнулся Кинтель. С Алкой можно было не церемониться.

— Дурак! Сколько ни созревай, все равно не поумнеешь.

— Все сказала? Тогда бай-бай...

Он брякнул трубку на рогатые хлипкие рычажки. Все. Прежнего настроения уже не вернуть. Включил свет, задул свечу, помусоленными пальцами сжал дымный фитилек... Бумага с бесмысленной россыпью букв ярко белела на краю стола. Кинтель обиженно посмотрел на нее, пошел на кухню. Пальцами похватал со сковородки холодную картошку. Потом решил: надо все же разогреть, включил газ. Глотнул воды из-под крана.

По радио диктор читал последние известия. Ничего нового. Главари провалившегося путча сидели в тюрьме с романтическим названием «Матросская тишина». Какой-то банковский деятель клялся, что нового повышения цен не будет (скорее всего, врал). Президенты совещались об экономическом договоре. А в республиках стреляли. Стреляли в Карабахе, в Армении, в Азербайджане, в Молдавии, в Южной Осетии, в Грузии... Где не стреляли, там митинговали... В Югославии тоже шла пальба. Сербь в хорватов, хорваты в сербов... Какого черта не живется людям? Прямо руки у всех чешутся, тянутся к «калашниковым»...

Все всегда ищут врагов. Чтобы очередями по ним... Поставить на обрыв и тысячу за тысячей. Представить всерьез *такое* убийство невозможно. Когда видишь на экране, как убивают одного, это страшно. Потому что понимаешь: был человек — и нет его. А когда тысячи... Те, кто стрелял, наверно, уже ни о чем не думали, привыкли. Палили, как... по кустам или по забору... А ведь каждый был живой... И среди них — Никита Таиров. Тот, кто оставил цифирь-загадку. Для него, для Кинтеля.

А может, вовсе и не для Кинтеля?

И нечего соваться в чужую тайну!..

Но у тайны такая природа: требует разгадки! Уже просто потому, что она, эта тайна, есть на свете...

Кинтель вернулся в комнату. Взял «Устав». Рассеянно открыл заднюю корочку — там, где выцветшие чернила сообщали, что книга эта не чья-нибудь, а «корабельного мастера Василия Алексеева, сына Селянинова, дворянина города Зупцова...»

Какие корабли строил он, «сын Селянинов»? Почему оказался в заштатном Зубцове? И что за город такой? Может, все же была там корабельная верфь? Волга все-таки... Если была, то наверняка это отмечено в городском гербе. Может, там кораблик, вроде как на гербе Преображенска?

Кинтель растворил дверцы разошедшегося книжного шкафа, в котором дед хранил самые-самые свои редкости. С нижней полки вытащил альбом «Гербы городовъ, губерній, областей и посадовъ Россійской имперіи». Знаменитый и редкий теперь гербовник, который в конце прошлого века «составилъ П.П.фонъ Винклеръ». Дед этой книгой ужасно дорожил и гордился. Вроде как профессор Денисов «Морским уставом».

Герб Зубцова в гербовнике нашелся. Оказалось, что «Высочайше утверждень 10-го Октябрю 1780 года. Тверской губерній. Уѣздный». Рисунки были не цветные, но в объяснении значилось: «В красномъ полѣ золотая стена со старинными зубцами».

Стена была похожа на частый гребень. И фон — такой же, как стена, только перевернутый.словно два гребня — светлый и темный — вошли друг в друга, образовав нехитрый рисунок герба. Никакого кораблика, только зубцы между зубцами... Между...

Опять что-то завертелось в мозгах. Будто очулась там щекочущая мошка... Строчки на фотографии, они... тоже как бы зубчиками! Нижние числа не прямо под верхними, а под промежутками! И если... их поставить в эти промежутки?... Ну-ка...

Тут уже не до свечи, не до игры в кладоискателей. Скорее!.. Что выходит?

Твердый знак в соответствии со старой орфографией прилипает к первой букве «К»!.. Затем чуть заметный промежуток — наверное, раздел между словами... N аккуратненько, как по заказу, вписывается между двумя W!

«Къ WNW...»

«К вест-норд-весту!»

А дальше?.. Что это? Неужели получается?
Ой-ей-ей...

Къ WNWотъ мыса
Св. Или ос. (Ш-нъ).
SO отъ Макушки
валунъ съ
Б плюсь Л подъ
внешней выем
кой копать
строго внизъ
два фута.
Найди и помни!

— Ура! — Кинтель неуклюже встал на голову и поболтал ногами при весьма неодобрительном взгляде прапрабабушки.

Впрочем, скоро радость поулеглась. Письмо — вот оно, да многое остается непонятным. Где этот мыс Святого Ильи? Что за остров Ш-н? Может, Шикотан, который рядом с Японией? Нет, с какой стати мальчик Никита стал бы что-то зарывать в такой несусветной дали!

Да и как бы он туда добрался...

Девочка Оля, для которой писалось письмо (вернее, тогда уже девушка), про остров Ш-н, разумеется, знала. Где его найти и как туда попасть.

Кинтель взглянул на снимок. Прапрабабушка смотрела прямо перед собой. Она была очень серьезна. А Никита в своей полуулыбке хранил загадку. Слово говорил: «Думаешь, прочитал письмо — и все решено? Клады так легко в руки не даются...»

Но Кинтель не ощутил обиды. Радость возвратилась к нему. Ведь что ни говори, а поддела было сделано! Полтайны раскрыто!

И когда наконец вернулся дед, Кинтель гордо поделился с ним своим открытием.

Дед обрадовался. Уселся на диван, листал и разглядывал (не без зависти) «Устав», слушал возбужденный рассказ Кинтеля. Покачивал головой, говорил: «Смотри-ка ты, надо же! Кто бы мог подумать!.. А мама, наверно, так и не прочитала. До того ли было в те годы! Да и книга к тому времени, скорее всего, потерялась...»

— Само собой, что не прочитала, — вздохнул Кинтель. И присел рядом с дедом. — А то бы, наверно, вырыла, что зарыто... Интересно, что за остров «Ша-эн»?

Дед отодвинулся, глянул на Кинтеля сбоку.

— Ох ты, дитятко... Неужели думаешь, будто это всерьез! Да играли они, вот и все. А это письмо — просто память о детской игре.

— Но ведь что-то же было, наверно, зарыто!

— Боже мой, ну, какая-нибудь игрушка или

детский талисман. Скажем, пробка от графина или красивая пуговица... Закопал Никита где-нибудь под яблоней в дачном саду. В том месте, которое у них двоих называлось мысом Святого Ильи. Бывает ведь такое в детстве, когда выдумывают свои острова и города, карты неведомых земель рисуют...

«Так, скорее всего, и было, — подумал Кинтель. — Разве найдешь теперь ту лужайку под яблоней? — И дач-то нет уже давным-давно...»

Стало грустно и задумчиво. Еще немного и включится в голове та скрипичная музыка... Но вдруг Кинтеля осенило:

— Толич! А может, они играли не с самодельной, а с нашей картой! Вот с этой! — Он кивком показал на стену. На блеклую и потрепанную карту 1814 года.

— Возможно. Только это ведь ничего не меняет...

Лишь сейчас Кинтель понял наконец, что за недавним возбуждением дед кроется не только интерес к открытию. Еще что-то. Какая-то озабоченность. Сейчас это стало заметнее.

— Неприятности, опять что ли?

— Да нет, наоборот... приятности. Не знаю только, как это для тебя. Видишь ли...

Кинтель всерьез встревожился. Дед сделался нерешительным, неловким, съезженным даже.

— Что случилось-то? Говори давай!

— Скажу, скажу. Никуда не денешься... Видишь ли, думали мы с Варварой, думали... и решили наконец...

— Расписаться, что ли?! — весело сказал Кинтель.

— Ну... вроде бы, — выдохнул дед. — Оно, конечно, если со стороны смотреть, то может показаться смешно. На старости лет...

— Да ладно тебе! — сказал Кинтель. — Вы оба еще это... вполне...

Дед несмело засмеялся, толкнул Кинтеля локтем.

— Значит, не возражаешь?

— Не-а... если меня не прогоните.

— Да Бог с тобой... У нее, кстати, тоже двухкомнатная квартира, можно будет сообразить с обменом, расширится...

— По-моему, и здесь хорошо, — беззаботно отозвался Кинтель. — Мне своего угла за шкафом вполне хватает...

Дед опять засмеялся и толкнул внука с неловкой игривостью. А Кинтель не понимал его смущения. Давно было понятно, что к тому все идет. Тетя Варя появлялась у них все чаще, хозяйничала, готовила иногда обеды и ужины... Ужины!

Кинтель с воем бросился на кухню. Только теперь сообразил, откуда запах гари.

На сковородке дымилась превратившаяся в угольки картошка.

Появился дед. Сказал с удовольствием:

— Который раз за эти дни... Что это доказывает? Что женский глаз в доме необходим.

— Я тебе яичницу сделаю на ужин, — виновато пообещал Кинтель.

После ужина Кинтель, шипя от нетерпения и боли в ногтях, отколупнул на карте кнопки. Унес карту в комнату, где за шкафом стоял его залатанный диван. Взял у деда лупу. Включил на столе лампы. И начал водить стеклом над рассыпями крошечных букв. По всем побережьям. Не найдется ли где-нибудь мыс Св. Ильи? И не даст ли это открытие в руки еще одну ниточку разгадки?

Мыс не находился. А глаза стали слипаться. И Кинтель, не споря с дремотой, лег щекой на карту. От старой бумаги пахло почему-то сухой травой... Будто траву скосили на лужайке среди яблонь, и она теперь на жарком солнце превращается в сено.

По скошенной траве, разгребая ее босыми ногами, брели девочка и мальчик. Держались за руки. Это были, видимо, Оля (будущая прабабушка Кинтеля) и Никита Таиров. Но в то же время — девочка-скрипачка и Салазкин. Только Салазкин был не в клетчатой рубашке, а в белой матросской блузе с косым синим галстуком, а девочка — в стареньком коричневом платье вроде нынешней школьной формы... Они знали, что Кинтель смотрит на них, но не обращали внимания. Они искали мыс Святого Ильи.

— Вот он... — девочка показала на кочку, усталую скошенным клевером. И кочка сразу выросла, превратилась во взгорок, за которым чувствовался обрыв. За обрывом туманно синело, клубилось, как дым, неласковое море.

Девочка и мальчик поднялись на взгорок, встали спиной к морю, к Кинтелю лицом. Покачнулись.

«Осторожно!» — хотел крикнуть им Кинтель. И в этот миг между ним и ребятами выросли из травы пятнистые дядьки в касках. Как манекены. Прижали к плечам приклады, навели на тех, на двоих, стволы. Мальчик и девочка не испугались. Словно знали заранее, что все так и будет. Неторопливо обняли друг друга за плечи, как перед фотоаппаратом... Сбоку от солдатской шеренги встал офицер — с бледным лицом, в старинном мундире с эполетами. Это был без сомнения, командир фрегата «Рафаил» Стройников. Он в тишине поднял большую прямую саблю (видимо, не успел еще сдать туркам).

«Стойте! — беззвучно закричал Кинтель. — Не стреляйте! Они же не виноваты!»

«К сожалению, виноваты, — так же неслышно (только губы шевельнулись) возразил Стройников. — Они не поехали на картошку...»

«Вы что, офонарели?! Разве за это стреляют?! Перестаньте!»

«Я не могу. У меня приказ».

«Это незаконный приказ! Я... отменяю! Есть Декларация детских прав!..»

«Да? В таком случае сыграй отбой!..»

Кинтель ощутил в ладони гладкий металл трубы. Поднес ее к губам. И...

«Я же не знаю, как играть! Меня не учили, чтоб отбой! Про это в песне...»

«Вот видишь, — грустно сказал Стройников (а на сабле горела солнечная искра). — Оказывается, сигнал отбоя тоже бывает нужен. А ты не захотел. Я бессилён что-то сделать...»

Вот, значит, как! Заманили в ловушку! Заставили искать мыс Святого Ильи, а сигналу не научили!

«Постойте! Тогда лучше я!.. Меня!.. Ведь это я виноват, а они-то не при чем!.. — И Кинтель хотел побежать к Никите и Оле, чтобы встать вместо них на обрыве. Но густое сено оплело ему ноги — не двинешься!.. Но должно же прийти какое-то спасение!

Может быть, вон оттуда, где стена?

Горячая от солнца кирпичная стена крепости вставала слева от Кинтеля. Очень высокая, с длинными и частыми, как у гребня, зубцами. Среди зубцов появились мальчишки-трубачи. Одетые, как средневековые пажы, в плащах-крылатках, с длинными фанфарами. Дружно, по команде, подняли к небу сверкающие раструбы. Сигнал (тоже неслышный, но ощутимый нервами) разошелся над скошенной травой. Но солдаты разом сделали полуоборот, вскинули стволы, и те беззвучно затряслись, выплевывая клочки синего дыма. И трубачи стали медленно падать со стены, и за каждым летел трепещущий разноцветный плащ.

Стройников повернул к Кинтелю бледное лицо и опять шевельнул губами:

«Я не виноват».

Кинтель, давясь плачем, бросил в солдат свою трубу. Потому что это была не труба, а граната. Взрыв метнулся тихим желтым пламенем, солдаты попадали и затерялись в траве. А Стройников бросил саблю и сторбенно пошел прочь.

Девочка и мальчик бежали с обрыва к упавшим трубачам. Кинтель с трудом побежал туда же.

Мальчишки лежали на скошенной, сладко пахнущей траве. Но они были не настоящие. Вроде тех алебастровых и отлитых из бетона горнистов, которых раньше ставили в скверах и пионерских лагерях, а потом посшибали.

А один был бронзовый, как настоящий памятник. Весь потемневший, с пятнами зеленой окиси на спине. Он лежал вниз лицом, и металлические пальцы плотно сжали трубу. Одно плечо было натерто, словно его кто-то старался отчистить, и на желтом сплаве замер солнечный зайчик...

Кинтель виновато посмотрел на девочку и мальчика: что же теперь делать? А они молчали. Мальчик задумчиво наматывал на палец матросский галстук. Девочка подняла из травы коричневую блестящую скрипку, вскинула к подбородку и заиграла. Ту самую мелодию.

Почти сразу все это исчезло, скошенная трава, трубачи, мальчик и девочка. Но мелодия осталась. Она приходила со стороны сквозь многослойную дремоту. И наконец разорвала пелену. Кинтель поднял голову.

Музыка доносилась из другой комнаты, от телевизора.

Кинтель сразу подумал: вдруг показывают концерт юных скрипачей и там выступает она! И назовут имя!..

Но на экране под знакомую музыку проплыли пейзажи с колокольнями и березами.

Дед сидел перед телевизором, оглянулся на Кинтеля.

— Сейчас передачу покажут: «Куда ведут нити заговора». Про Янаева и всю компанию. Будешь смотреть?

— Да ну их всех...

— Тогда ложись. Поздно уже.

— Угу...

СНОВА О ФРЕГАТЕ «РАФАИЛ»

Ночью стал стучать по стеклу крупный дождь. И, видно, сильно похолодало. Кинтель спал с распахнутой форточкой и зябко ежился под одеялом, просыпался даже. Но подниматься и закрывать форточку было лень.

Утром светило солнце, но уже по-осеннему, сквозь низкие клочковатые облака.

Дед ушел рано, и Кинтель остался со своими заботами: о супе, который надо варить на обед, об уроках, которые (будь они неладны!) надо готовить. Хотя бы письменный по русскому. А то Диана возликует, вкатывая в журнал «гуся»...

Вчера весь вечер мысли были заняты одним: расшифровкой письма и мысом Святого Ильи. А сегодня пошли по более широкому кругу. Про все, что было накануне. И Кинтель вспомнил, что так и не спросил Салазкина: кто он, этот стремительный мотоциклист, перед которым спасовала даже завуч?

Салазкин оказался легок на помине. Побрякал звонком и появился на пороге. В мятых школьных брюках и в свитере, к которому прилипли сухие травинки. Малость растрепанный.

— Извини, что так рано...

— Какое там рано! Десятый час! — Кинтель крепко обрадовался Салазкину. Втащил его за рукав, веселым толчком усадил на свою постель. А тот рассказывал:

— Я еще раньше хотел, подошел к дому, а потом думаю: не удобно в такой ранний час... А в переулке здешние ребята на тележке катались. Ну, на багажной, как у носильщиков. С горки по асфальту. Я подошел, говорю: «Можно с вами покататься?» Они сперва удивились, наверно, подумали: откуда такой нахальный? Потом один говорит: «За рейс двадцать копеек». Я согласился. «Пожалуйста», — говорю. А тут подскочил твой сосед Витя: «Это дружок Кинтеля, чего вы...» Ну, мы и стали кататься вместе... А один раз прямо в бурьян!

Было просто здорово, что Салазкин такой безбоязненный! И Достоевские, значит, поняли, что не так уж прост и беспомощен этот вежливый пацаненок из «Дворянского гнезда». Конечно! Он же недавно еще и Витьку кинул носом в траву!.. А как держался в кабинете у Зинаиды! Не дрогнул...

— Санки! — (У Кинтеля это имя выскочило само собой, и Салазкин не удивился). — Слушай, а кто этот Вострецов? Так примчался...

Салазкин сказал с ноткой удовольствия...

— Это мой давний друг. Уже больше года знаком... Ну, не только мой, там целая компания у него на Калужской. Вроде отряда... Я потому и галстук ношу. А ты думал, что из-за школы?

— Что за компания? — Кинтель ощутил укол ревности. Но Салазкин этого не понял.

— Раньше был большой отряд. Назывался сперва «Эспада», потом еще по-всякому. В походы ходили, кино снимали. Под парусами плавали... Ну, а потом их из подвала выгнали, в котором они занимались. Отдали подвал какому-то кооперативу. Отряд, конечно, меньше сделался, но весь не рассыпался, стали у Корнеича собираться. То есть у Вострецова... Когда я с ними познакомился, так все уже и было... Но мы живучие!

Это веселое «мы живучие» не очень-то понравилось Кинтелю. Ревность снова царапнула его. Оказывается, Салазкин — совсем не беззащитное дитя, есть у него друзья и заступники. И значит, проживет он спокойненько в случае чего и без Кинтеля...

А Салазкин сказал как о деле само собой решенном:

— Я тебя с ними познакомлю, конечно.

«Больно надо», — огрызнулся Кинтель. Но про себя. Не хватало еще, чтобы Салазкин догадался о его мыслях. И Кинтель сказал со снисходительным уважением:

— Он, этот Корнеич, вчера... будто снег на голову. Как это удалось-то?

— Главная удача, что он оказался дома! А дальше — просто. Как услышал пароль — сразу в седло...

— Какой пароль?

— «Добрый день»! Кто не знает, тот не поймет, а наши все знают. Как услышишь это — бросай все и на помощь!

«Наши»... — опять обидчиво отозвалось в Кинтеле. А Салазкин объяснил весело и бесхитростно:

— Раньше был пароль «Майский день». А потом решили, что это слишком обращает на себя внимание, и переделали...

— А почему «Майский день»? — стараясь не говорить хмуро, спросил Кинтель.

— По-английски «мэйдэй». Международный сигнал бедствия. Вот если где-нибудь гибнет корабль, то по радио... — и Салазкин замолчал.

Кинтель насупился, отвернулся к окну. Тень «Адмирала Нахимова» прошла по комнате...

Салазкин проговорил тихо:

— Прости меня, пожалуйста. Я напомнил, да?

Ну, кто еще мог бы так сказать, кроме Салазкина? Виновато и откровенно, с настоящей боязнью, что обидел... Хмурая ревность Кинтеля пропала в один миг. Он сел рядом с Салазкинским. Вполголоса признался:

— А я ведь прочитал... то, что на фотографии.

Салазкин не удивился. Вздохнул, потрогал сквозь брючину родинку-горошину. Проговорил полупешпотом:

— Я был почти уверен... Я потому и вертелся у твоего дома с восьмью часами. От любопытства. Я ужасно вот такой... нетерпеливый... Даня, а что там?

Кинтель взял со стола листок с расшифровкой...

Они с полчаса обсуждали всякие варианты; игра это была у Никиты с Олей или не игра? Сопели над старой картой: вдруг все-таки отыщется среди тысяч бисерных названий мыс Святого Ильи?... Потом Салазкин завздохнул, засобирался домой.

— Уроков такое безбожное количество...

— Скажи, а можно сегодня еще «Устав» побудет у меня? Я вчера колдовал над цифирью, а почитать его даже не успел.

— Оставь, конечно!

— А ты... пока никому не говори, что тут у меня расшифровалось. Даже там... на Калужской... — и Кинтель замер в ревнивом ожидании. Но Салазкин откликнулся с веселым пониманием:

— Разумеется! Даже папе не скажу, хотя он уже любопытствовал.

— Да папе-то можно! — Кинтелю опять стало радостно. — Санки, а правда ты Зырянова каким-то приемом крутанул?

— Ой, да это просто! Это хоть кто сумеет, если показать...

— А меня... можешь опрокинуть?

Салазкин посмотрел на щербатые половицы.

— Здесь, пожалуй, не надо. Твердо...

— А нога уже не болит?

— Что ты! Я и забыл!

— А я... пожалуй, сегодня буду болеть. И в школу не пойду! — вдруг решил Кинтель. — Ночью из форточки дуло, и теперь у меня горло... кха-кха... Буду валяться и читать «Устав».

— Ты самостоятельный, — с уважением сказал Салазкин. — Мне бы за такое дело попало...

— И мне может. Но я заранее позвоню деду.

Он и в самом деле позвонил, когда Салазкин ушел.

— Толич, я это... совсем простыл. В горле дерет, как теркой и, кажется, температура.

— Не пудри старому деду мозги. Хочешь полентяйничать! Правда ведь?

— Ну... правда. Наполовину. А горло тоже... кха... Ну, могу я устроить себе разгрузочный день?

— На второй-то неделе учебного года!

— А потому что вчера у меня... был стресс, вот!

— Лодырь, — печально подвел итог дед. — Шут с тобой. Но тогда сиди дома, на улицу не суйся.

Кинтель улегся с книжкой на постель. Открыл «Устав» в самом начале. Старый шрифт — не помеха. Сколько уже Кинтель прочитал книжек, напечатанных до революции! Того же толстого Гоголя...

Скрипучий переплет норовил закрыться. Книжка топорщила листы. Кинтель придерживал ее, как живое существо...

Господи, неужели этой книжке двести семьдесят лет?.. Напечатали ее, когда не было на свете даже Ивана Гаврилова, давнего предка Кинтеля... И может быть, в самом деле держал ее в руках Петр Великий? А уж капитаны его кораблей — точно держали. Обветренные, в треуголках и ботфортах, с тяжелыми шпагами на портупеях... И можно об этом думать без напряженной виноватости, потому что другое время — задолго до истории с «Рафаилом»...

Предисловие, где рассказывалось о древнем русском флоте, Кинтель прочитал полностью. Интересно было, хотя язык такой, что прямо... ну, как церковная служба: «Усмотрено место к Корабельному строению удобное на реке Воронже, под городом тогож имени. Призваны из Голландии мастера, и в 1696 году начали в России дело...»

Дальше было тоже любопытно: как давать присягу на верность Его Величеству Петру Первому, на какие эскадры делится флот, какие бывают во флоте командиры: «Генерал Адмирал. Адмирал от синего флага. Адмирал от красного флага. Вице Адмирал. Шаутбейнахты. Капитаны командоры»...

Но постепенно Кинтель утомился и стал перелистывать сразу по несколько страниц, читать наугад... Потом вздремнул. Разбудила его тетя Варя, которая открыла дверь своим ключом.

Она была маленькая, подвижная, энергичная. С остреньким носом, быстрыми черными глазами и волосным шариком на макушке. Уж-жасно строгая.

— Ты чего это, друг ситный, разлегся, в школу не собираешься?

— А потому что катар дыхательных путей, Толич велел дома сидеть.

— Веником бы тебя по одному месту, враз никакого катара не стало бы...

— А веником нельзя. Декларация прав ребенка есть. Ра-ти-фи-ци-рованная.

— Декларация!.. Картошку-то хоть купили, мужики?

Хорошо, что Кинтель не занялся обедом. Тетя Варя лихо, с победным громом кастрюльных крышек, принялась готовить сама. И что-то бодро напевала на кухне.

Кинтель громко спросил в открытую дверь:

— Когда поженитесь-то наконец по-нормальному?

— Это что еще за разговоры!

— Да ладно тебе! Дед признался!..

— Скоро, моя радость, скоро! И вот уж тогда-то я за тебя возьмусь...

— Ладно! — разрешил Кинтель. — Только без веников!

Тетя Варя ушла, оставив кучу наставлений насчет продуктов, талонов и хозяйственных дел. Кинтель еще повалялся, с аппетитом пообедал, посмотрел «Гардемарины, вперед», третью серию. Подумал, что готовить уроки, заданные на сегодня, уже не имеет смысла. Улегся опять с «Уставом». Открыл наугад. На двести девяностой странице. И надо же ведь, попало вот что!

«В случае бою, должен капитан или командующий кораблем, не только сам мужественно

против неприятеля биться, но и людей тому словами, а паче дая образ собою побуждать, да бы мужественно бились до последней возможности, и не должны корабля неприятелю отдать, ни в каком случае, под потерением живота и чести».

...Капитан второго ранга и кавалер военных орденов Семен Михайлович Стройников «Устав», конечно, знал. Понимал, чем кончится для него сдача фрегата. «Потерением живота и чести». Не лучше ли было потерять «живот» чуть раньше, зато честь оставить незамаранной? Или надеялся, что суд его пощадит?

Так и случилось, адмирал Грейг смягчил приговор (наверняка с ведома царя), сохранил бывшему капитану жизнь... Но какая это жизнь — потом! Когда сломали над головой шпагу, когда вечный стыд и каторга в крепости, а потом в рядовых матросах, и даже детей нельзя иметь. По крайней мере, законных...

А может, все-таки жизнь?

Может быть, Стройников не жалел о содеянном? Решил, что всякое существование на белом свете лучше безвременной гибели? Или дело не в этом? Знал, может быть, такое, чего не ведали другие?..

А что, если он считал, что не нарушил «Устава»?.. Тут вот какое-то еще «Толкование» мелким шрифтом.

«Однако, ежели следующие нужды случатся, тогда за подписанием консилиума от всех обер и ундер офицеров для сохранения людей можно корабль отдать»...

Конечно же! Ведь положение было безвыходное! И Стройников поступил, как велено Петром!

«1. Ежели так пробит будет, что помпами одолеть лекажи или течи невозможно.

2. Ежели пороху и амуниции весьма ничего нестанет. Однакож ежели она издержана прямо, а не на ветер стреляно для нарочной истраты.

3. Ежели в обоих вышеписанных нуждах никакой мели близко не случится, гдеб корабль простреля мочно на мель опустить»...

Кинтель перечитал еще раз — в слабой надежде, что пропустил что-то или неточно понял... Нет, все точно. Не было оправдания командиру «Рафаила». Потому что не был фрегат безнадежно пробит, наоборот, новенький совсем. И пороху — полные запасы.

У Кинтеля упало сердце. Словно не для Стройникова, а для него, Даньки Рафалова, написан был приговор военно-морского суда за то, что «Рафаил» спустил флаг, когда мог драться с врагами!

Но много ли выстрелов успел бы сделать фрегат под перекрестными залпами линейных громад? Все равно он был обречен!..

Затрезвонил на столе деда телефон.

— Данила! Ну, как твое горло?

— В форме. Отлежался, откашлялся... Тетя Варя приходила, наварила сразу на три дня. Хорошо, когда хозяйка в доме...

— Во-во... — смущенно подтвердил дед. — А я сегодня опять задержусь, в семь часов совещание. В Лесном поселке инфекционное отделение открывают, а с кадрами полный кавардак...

— А сейчас? — осторожно спросил Кинтель.
— Ты очень занят?

— Ну... сижу, списки перетряхиваю...

— Толич, я спросить хочу... Помнишь «Рафаил»? Может, капитан Стройников был не так уж виноват?

Дед помолчал. Не удивился вопросу. Сказал медленно:

— Чтобы понять, надо знать, о чем он думал тогда. А кто это расскажет?.. Почему ты вдруг вспомнил?

— В «Уставе» одно место нашел. Вот послушай... — И Кинтель прочитал статью «Устава» и толкование к ней.

Дед выслушал терпеливо. Проговорил сочувственно:

— Ну что ж, ты сам видишь, нет здесь оправдания для Семена Михайловича.

— Но ведь сказано: для сохранения людей можно корабль «отдать»!

— Не при таком случае, сам видишь.

— Но это тоже безнадежный случай!

— Если бы он дрался до последней крайности, а уж после спустил флаг, может, и нашли бы смягчающие обстоятельства...

— А зачем драка без пользы?! Никакой же надежды на победу...

— Драка, чтобы принести вред врагу, — как-то официально ответил дед.

— И всех людей загубить. Живых...

— Людей загубить, а достоинство флага отстоять, — все так же сухо отозвался дед. — Как написано на памятнике командиру «Меркурия» — «потомству в пример»... Это же война, дорогой мой, у нее свои законы. Там людей жалеть некогда...

— Значит, ты тоже считаешь, что нет ему оправдания, — покоряясь неизбежному, проговорил в трубку Кинтель.

Дед, кажется, усмехнулся.

— Это не я так считаю. Так счел его величество государь-император Николай Первый. И члены суда. А потом — историки и писатели.

Кое-кто отзывался вроде бы с сочувствием, но не оправдывал ни один...

— А ты... тоже не оправдываешь?

Дед молчал довольно долго. Не то сердито, не то озадаченно. Потом отозвался с раздражением:

— А я как могу судить? Я здесь лицо заинтересованное, необъективное. Как и ты...

— Почему?

— Вот те на! Ты не понял, что ли? — в голосе Толича проскользнула опять грустная усмешка. — Если бы Стройников взорвал фрегат, не было бы ни тебя, ни меня...

Елки-палки! А ведь в самом деле!

Дед еще о чем-то спросил, Кинтель машинально ответил и положил трубку.

До сих пор Кинтелю не приходила в голову эта простая мысль. Он существует на свете благодаря тому, что капитан Стройников опустил на своем фрегате флаг! Иначе взрывом кюйт-камеры разнесло бы на куски всех, кто был на «Рафаиле». В том числе и квартирмейстера Ивана Гаврилова. А когда раньше срока умирает человек, это не только его гибель. Гибнут дети, которые могли от него родиться и не родились. И значит — внуки, правнуки. Целая ветвь рода человеческого! Такое рассуждение Кинтель встречал в каких-то книжках, но до этой минуты оно не связывалось в сознании с его собственной судьбой.

А может, связывалось, только безотчетно? Иначе почему так часто вспоминался «Рафаил»?

Но... тогда что же выходит? Он, Данька Рафалов по прозвищу Кинтель, живет на свете благодаря трусости и предательству?

«Я же ни при чем!.. И дед ни при чем!.. И даже Иван Гаврилов был не виноват, не он ведь приказал спустить флаг!»

«А может, и виноват! Стройников писал в рапорте, что матросы не захотели взрывать корабль...»

«Он писал, чтобы оправдаться перед царем! Сваливал свою трусость на других!»

«Сваливал? Боевой офицер, дворянин, воспитанный на законах чести! Не раз глядевший смерти в лицо...»

«Все равно он виноват больше всех!»

«Виноват... в чем? В том, что ты теперь сидишь вот тут живой, здоровый (и даже горло не болит) и рассуждаешь о его поступке? Легко тебе... А вот не было бы тебя совсем...»

«Не было бы совсем?»

Сколько ни напрягайся, а представить это нельзя. Кинтель много раз — по ночам, когда не спится и думается о всяком — пытался осознать: как это, если его совсем не будет? Такое все

равно невозможно. И когда дед однажды рассказал о разных учениях про переселение вечных душ, Кинтель воспринял это как само собой разумеющееся... Но в каком виде и как жила раньше и как будет жить потом его душа — покрыто тайной. А вот зачем он, Кинтель, сейчас на Земле? Какой в этом смысл? А может, никакого смысла? В такое тоже не верится. Потому что порой, когда задумываешься о вечности и бесконечности, накатывается чувство, как... ну, как звездный космос. И хочется вдохнуть в себя эту громадность, и кажется, что вот-вот откроется какая-то тайна. Может, самая главная во всем мире...

И сейчас Кинтель опять думал про это, сидя на дедовом столе и отколупывая от старого канделябра подтеки стеарина. Думал долго, пока не начался тонкий звон в ушах. Тогда Кинтель встряхнулся. Прыгнул со стола, включил телевизор — наугад, не помня, что в программе. На экране зевала симпатичная рекламная овчарка биржи «Алиса». Потом дикторша предложила посмотреть передачу о творчестве режиссера Вадима Абдрашитова. Кинтель нацелился переключить канал, но тут появился кинокадр: в ночном море тонул громадный лайнер. Освещенный иллюминацией, он медленно погружался в черноту, метались, кричали, прыгали за борт люди, а огни сияли, не желая расставаться с недавним праздником... А диктор что-то говорил о новом фильме «Армавир», который чиновники, конечно же, не хотели пускать на экраны...

А Кинтель замер, съезжившись на стуле. Что это за день сегодня! Все одно к одному...

Лайнер погибал. Гибли пассажиры. Наверняка так же, как тогда, в августе восемьдесят шестого...

Кинтель старался не думать лишний раз о катастрофе. Потому что, если представляешь такое, то, значит, соглашаешься до конца, что она была. И не просто была, а имеет отношение к тебе. Как «Рафаил»... И получается, что отказываешься от своей тайны, от последней надежды.

Кадр сменился, режиссер что-то оживленно говорил зрителям. Кинтель убрал до отказа громкость. Подошел к столу, подержал руку на телефоне. Позвонил деду.

— Толич... Еще не началось совещание?

— Нет пока... Что случилось?

— Ничего. Так, вспомнил... Толич, когда человек умирает, дают какой-нибудь документ?

— Н-ну... дают, конечно. Свидетельство о смерти... Что у тебя за похоронный интерес? — Дед явно забеспокоился.

— Толич, а про маму такое свидетельство есть?

— А, вот оно что... — слегка отчужденно ото-

звался дед. — Нет, мы не получали. Когда человек гибнет с судном и его не находят, он считается пропавшим без вести. По крайней мере, какое-то время... Ну, потом-то, наверно, дают бумагу. Родственникам... А кто должен был получить? Она же одна жила...

— Ну да. Никому никакого дела... — вырвалось у Кинтеля.

— Дая, — осторожно сказал Виктор Анатольевич. — Чего это ты сегодня... такой? Может, правда заболел?

Кинтель потрянул головой.

— Все нормально. Просто подумалось... Кино идет про морскую катастрофу, вот и вспомнил.

— Не смотрел бы, чего не надо...

— Ага, я переключил... — Деда не следовало волновать зря, опять за сердце будет держаться. — Ладно, пока. Совещайся там...

Кинтель не успел снова погрузиться в печальные мысли. Едва положил трубку, как аппарат затрясся от звонка.

Звонила Алка Баранова:

— Кинтель! Ты почему в школе не был?

— Это... кха... О-эр-зэ, или катар... Дед не пустил. Он же у меня врач.

— А тебя Диана пол-урока склоняла. Какой ты такой-сякой... Что ты ей вчера наговорил?

— Да ну ее! Она меня еще с детсадовских времен помнит! Я ее при одной встрече дебилкой обозвал. По младенческой наивности... А вчера опять сцепились.

— Имей в виду, ты нажил смертельного врага...

— Видал я этого врага знаешь где... А с чего это уж так-то — «смертельного»?

— Потому что ты задел у нее больные струны. Когда говорил, что нельзя предавать детей... Она же замуж собирается, а у нее от первого брака семилетний сын. И она его сплавляет в интернат, чтобы с новым супругом жить не тужить...

«Вот оно что!» — Кинтель чуть не похвастался, что будущего мужа Дианы обозвал проходцем. Но Алку следовало держать в строгости. И он сурово сказал:

— Собираешь всякие сплетни.

— Ни капельки не сплетни! Это все девчонки знают!

— Я-то не девчонка! Чего ты мне бабью информацию на уши вешаешь!

— Ты невозможный тип, — надменно сообщила Баранова.

— Потому-то ты, шашлычок мой, и влюбилась в меня с детсада? — Он так дразнил ее иногда.

— Че-во-о-о! Ой, мамочки! Чучело колючее, обормот! Да я лучше в щетку влюблюсь, которой рыжие башмаки чистят!

— Для тебя это самая пара, — и Кинтель по-

ложил трубку. Но телефон тут же затрясся опять.

— Чего тебе еще? — гаркнул в микрофон Кинтель. И услышал робкое:

— Извини... Я думал, что...

— Салазкин! — ахнул Кинтель. — Не обижайся. Я думал, это снова одна дура звонит, из нашего класса...

Салазкин обрадованно засмеялся. Кинтель спросил:

— Ты откуда сигналишь?

— От дома...

— Разве у вас есть телефон?

— Я ведь не «из», а «от». Нам еще не поставили, но у подъезда есть автомат... А как твоё горло? Не болит?

— Да ты что! Я же просто сачковал! Чтобы «Устав» почитать на досуге.

— Да, кстати... Я сегодня все думал о том письме, про мыс святого Ильи. А потом вот что вспомнил...

— А чего ты по телефону-то! Давай приходи!

— Кинтель представил, как хорошо будет сейчас увидеть Салазкина.

— А можно? Я бегу!

ПАРОХОД «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

Он примчался через пять минут. Весело запыхавшийся и немного виноватый.

— Здравствуй... Но у меня, к сожалению, только негативная информация. У нас дома «Географический энциклопедический словарь», там все названия. Но мыса Святого Ильи там нет...

— Ну, нет так нет. — Сейчас письмо Никиты Таирова волновало Кинтеля гораздо меньше, чем вчера. — Ты сядь и отдышись. А то будто за тобой племя ирокезов гналось...

Салазкин послушно засмеялся. Сбросил у порога кроссовки, прошел в комнату, присел на стул. Вдохнул:

— Там, в словаре, есть только горы Святого Ильи. В Кордильерах...

— Далековато, — сказал Кинтель. — Если уж искать, то поближе... Тебе дома не попадет за то, что пошел ко мне?

— Еще ведь не поздно.

Было около семи, в окно сквозь ветки светило совсем низкое оранжевое солнце

— А я почти весь день «Устав» читал. Но целиком его не осилить. Это уж, наверно, только историки могут...

— Папа говорит, что там есть очень любопытные места. Даже переключаются с современностью. Например, про борьбу с бюрократами...

— Давай, ты сегодня книгу отнесешь домой. А то у отца небось на душе кошки скребут...

— Да ничего подобного!

— Ну, все равно пора возвращать. Я тебя провою.

— И обязательно зайдём к нам!

— Вот уж фигушки!

Салазкин, глядя в пол, тихо сказал:

— Папа очень просил зайти. И мама...

— Ну вот! На кой это...

Не поднимая головы, Салазкин глянул сквозь волосы.

— Но ведь нельзя же так... Надо же как-то, чтобы все по-хорошему. Раз уж мы... познакомились...

«И надо сказать профессору спасибо за книгу, — подумал Кинтель. — А то свинство получается...»

— Ладно... Только учти: я на минутку...

Салазкин радостно подскочил:

— Да ты не бойся, маме сейчас не до тебя! И не до меня! Потому что такое семейное потрясение: Соня и Зоя в Москве разом замуж собрались. Они же все вместе делают, одинаково! И даже обоих женихов зовут Сергееми! Мама в транс...

— Потому что оба Сергея? — усмехнулся Кинтель.

— Вообще... Все четверо студенты, жить-то где? В общежитии? Масса проблем...

Профессора Денисова не оказалось дома. А с матерью Салазкина встреча получилась (к великому облегчению Кинтеля) без всяких лишних сложностей. Та прямо у двери быстро взяла каменевшего Кинтеля за плечи, наклонилась:

— Даня! Вот и славно, что пришел. Я знаю, ты на меня тогда обиделся. Ну, и правильно обиделся! Только ты меня пойми, я за Саньчика так дрожу. Столько всего кругом, каждый день сообщения о всяких жутких случаях... С дочками-то меньше забот было, они всегда друг с другом. А с этим постоянно всякие истории...

— Это с ними сейчас истории, — весело напомнил Салазкин. — Я-то жениться пока не собираюсь...

— Ох, не жизнь, а кошмар... — Мать Салазкина смешно, как бабушка, всплеснула руками.

От нее слегка пахло духами и кремом и еще чем-то хорошим таким, домашним. Как давным-давно, в почти забытые времена, пахли в шкафу мамини платья. Мама уехала, а платья почему-то остались. И Кинтель, крошечный совсем, когда оставался один, открывал шкаф, зарывался в платья лицом и вспоминал. И почему-то очень боялся, что кто-нибудь увидит его в этот момент...

Он проговорил, глядя в плетеный половик:

— Я понимаю, конечно... Район незнакомый, люди тут всякие... Каждая мать за сына боится.

Ему очень хотелось, чтобы мама Салазкина поверила, что он понимает и не обижается. И она, кажется, поверила, по лицу видно. Тогда Кинтель сказал с облегчением:

— Вы передайте Александру Михайловичу большое спасибо за книгу. Я пойду, до свидания...

— Куда?! — хором сказали Салазкин и мать. И она добавила решительно: — Так в гости не приходят, без чая не отпущу! Тем более, у нас на работе сегодня конфеты давали по заказу. «Кошкин дом» называются, вы, мальчики, таких и не видели...

Вот этого Кинтель боялся больше всего! Чаепития и всякого светского общения. И вдруг обрадованно вспомнил:

— Ой, да я же телевизор не выключил! Звук убавил до отказа и забыл! Вот как полыхнет! Я побегу!..

— Я с тобой! Провожу! — подхватил Салазкин.

— Только недолго! — всполошилась мать.

— Мы еще погуляем потом! — решительно заявил Салазкин.

— На ночь глядя!.. Тогда возьмите Ричарда! Ему тоже гулять надо.

Через минуту они мчались по освещенной закатом улице Достоевского. Салазкин крикнул на бегу:

— Ничего не будет! Черно-белые загораются очень редко!

— Кто его знает! Он один раз уже дымил!..

А спущенный с поводка Ричард был счастлив. Он мчался рядом и дурашливо хватал то Салазкина, то Кинтеля за штанины.

Когда ворвались в квартиру, старенький «Фотон» мирно и бесшумно мерцал экраном. Кинтель с облегчением повалился на тахту. Салазкин бухнулся в скрипучее кресло. Ричард обошел квартиру, обнюхал мебель и выжидательно уселся у дверей.

— Фу-у, — выдохнул Кинтель. — А я уж думал, полыхает наш памятник архитектуры... Знаешь, Санки, этому дому двести лет.

— С ума сойти! — Привидений здесь нет?

— Домовой, говорят, есть. У соседей на первом этаже...

Ричард у дверей тихонько поскулил, напомнил о себе...

— Не нагулялся, — сказал Салазкин. — Может, выключим телевизор и побродим?

— Ага... Сейчас, отдышусь маленько...

На экране шла программа Российского ТВ.

Опять (который раз!) показывали горящие танки, потом митинг, потом — как снимают краном с постаменты памятник Дзержинскому.

Салазкин тихо проговорил:

— А Павлика Морозова тоже сняли. И бросили у забора...

Кинтель сел.

— Когда? Он же совсем недавно стоял, помнишь?

— Да... А сегодня у нас было всего два урока, и я поехал на Калужскую, к Корнейчу. Надо было про одно дело спросить... А сад-то с памятником как раз на полпути. Обратного трамвая долго не было, я пошел пешком. Когда проходил мимо сада, глянул вдоль аллеи, а памятника нет. Постамент пустой... Я подошел, оглянулся, а потом вижу, он в сорняках...

— Ну, что за сволочи, — шепотом выговорил Кинтель. — Скидывали бы памятники, которые себе ставили. То есть взрослым. А пацанов-то чего трогать...

— Мне... как-то не по себе стало. Знаешь, Дая, будто его... расстреляли и бросили...

«И, наверно, из того окна это видно», — подумал Кинтель. Он встал. Попросил нерешительно:

— Может, съездим, посмотрим? Это ведь недалеко...

Зачем такое нужно, он не смог бы объяснить. Но Салазкин и не спрашивал.

— Конечно! Пошли.

Им повезло: «двадцатка» подкатила к остановке как по заказу. И в вагоне было свободно, никто не заругался, что едут с собакой. Когда подъехали к саду, уже начинали густеть сумерки. Постамент, где раньше стоял щуплый непокорный мальчишка, был пуст.

— Пойдем, — шепотом сказал Салазкин. И повел Кинтеля сквозь лопухи. Листья громко шуршали по одежде. Ричард шастал в окрестных кустах.

Сквер был отгорожен от внутренних дворов квартала ветхим забором. Вдоль забора тянулась полоса частого кустарника, за ней стоял высокий бурьян. В ней и лежал сброшенный с постаменты Павлик.

Было еще не совсем темно, можно разглядеть...

Он лежал лицом вниз. Теперь, на земле, видно было, что фигура крупнее детской, ростом со взрослого мужчину (это на постаменте она казалась маленькой). Но все равно было понятно, что это мальчик. По-детски лохматились на затылке волосы, тонкие щиколотки босых ног беззащитно высывались из потрепанных штанов. Ступни по-прежнему упирались в квадратную

площадку. Из нее с другой стороны торчали четыре штыря.

Бронзовые мальчики падают, не меняя позы. И кулаки опущенных вдоль тела рук были, как и раньше, упрямо сжаты.

Несколько желтых, светящихся в сумерках листьев лежали на черной бронзе.

— Может быть, его лопухами закидать? — нерешительно предложил Кинтель. Он опять чувствовал себя так, будто в чем-то виноват.

— Давай, — согласился Салазкин.

Лопухи были вялые, мягкие, как тряпки. Их понадобилось много, рвали долго, вдоль всего забора. Укрыли...

— Все равно это не выход, — прошептал Салазкин. — Уж тогда лучше закопать бы... раз он никому не нужен.

— Где? Здесь не дадут... Набегут, заголосят: что делаете, кто разрешил?! Да и копать сколько...

— И как-то жалко закапывать. Будто живого хоронить... Лучше уж вот что! Опустить в озеро! Пусть стоит на дне, не падает... И солнце там сквозь воду светит... Надо приехать в темноте на грузовой машине, потом его на шлюпку, и на середину озера, где глубина...

— А где взять машину-то? И шлюпку...

— Это не проблема. Корнеич достанет. А вот если кран понадобится, это сложнее. Бронза, она ведь ужасно тяжелая.

— Может, не очень. Памятники обычно пустые внутри, — возразил Кинтель, по-прежнему чувствуя себя виноватым. — Наверно, получится и без крана, если ребят собрать. С нашего квартала можно пацанов пятнадцать организовать.

— И у нас почти столько же, — отозвался Салазкин.

Ревнивая досада опять зашевелилась в Кинтеле.

— Это на Калужской, что ли? У Корнеича?

— Да! Там очень дружные люди.

«Подумаешь! Чего тогда вокруг меня крутишься?» — Но обида была какая-то беспомощная. И у Кинтеля вырвалось:

— Рассказал бы хоть, что за люди! Что за Корнеич?

— Да, конечно! — звонко отозвался Салазкин. Будто ждал этого. — Пошли...

Они позвали Ричарда, выбрались через заросли на аллею. Но пошли не туда, где трамвай, а в другую сторону: где калитка и *та самая* скамейка. Кинтель — машинально, по привычке. А Салазкин решил, видимо, что так надо. Он сказал:

— Корнеич, это... в общем, в детстве он был в отряде, который назывался «Эспада». Не такой пионерский отряд, как в школе, а сам по себе. Они там много чего делали. Фильмы снимали, яхты строили сами, в походы на них ходили. Фехтованием занимались... А главное, всегда бы-

ли друг за дружку... Ну, потому что там все добровольно, никто ведь в эту «Эспаду» не загонял насильно, как в школьную дружину... И был он там до десятого класса. А потом стал поступать в архитектурный институт, но не поступил, скоро его забрали в армию. В Афганистан...

Они шли медленно, листья шуршали под ногами. Ричард присмирел и послушно шагал между хозяином и его новым другом. Салазкин сказал сбивчиво:

— А там он... в общем, насмотрелся на всякое. Он обычно разговорчивый, но про это говорить не любит... И когда приехал... Знаешь, говорят, такое было со многими: все из рук валится, ничего в жизни не получается, каждый день мысли про то, что было. Какая там кровь, сколько людей погибло. И наших, и афганцев... Ну, он тогда тоже пил отчаянно...

— Почему «тоже»? — дернулся Кинтель.

Салазкин глянул чуть испуганно.

— Ну... я же говорю, так у многих было...

«Дурак», — сказал себе Кинтель. И спросил хмуро:

— Сейчас-то завязал?

— Да! Его выручил товарищ по отряду, он постарше был. Он археолог. Взял с собой в экспедицию, в Херсонес, это под Севастополем. Потом устроил работать в мастерские при краеведческом музее — у Корнеича руки-то золотые... Познакомил его с редакцией «Молодежной смелы». А потом говорит: «Ты же капитан, Данила, собирай-ка ребят снова...»

— Как это капитан?

— Это не по-военному, а такое звание было в «Эспаде»... Только «Эспады» тогда уже не было, их к тому времени из помещения выгнали, яхты сделались старые, гнили на пристани... И вот этот друг, Сергей Каховский его зовут, говорит: «Собрал бы ты ребят, столько хорошего народа ходит без дела...» Ну, у Корнеича старое в душе зашевелилось... Он сам так говорит — «старое зашевелилось»... Созвал с разных улиц ребят, выпросили они пустой подвал у начальства, отремонтировали два парусника. Снова получился отряд. Уже не «Эспада», а новый. Но все равно хороший. И Корнеич во все эти дела влез с головой... Только это все было, когда я еще его не знал. А когда познакомились, отряду в то время опять не везло...

— Почему?

— Потому что подвал отобрали, он какому-то кооперативу понадобился. У кооператива деньги, а у Корнеича что? Он и так ползарплаты на отряд выкладывал, но разве на аренду этого хватит? А еще яхты совсем развалились. А чтобы новые делать, тоже деньги нужны. И стройматериал. И помещение...

Салазкин говорил с непривычной деловитостью. Видать, эти дела давно заботили его.

— Да и Корнейчу труднее. Он теперь на заочном учится, а еще дела в газете, в комиссии детфонда...

— Он что, так и кидается по всякому сигналу «Добрый день»? — Спросил Кинтель. Потому что из рассказа было уже в основном ясно, какой человек Даниил Вострецов, Корнейч.

— На всякий не успеть, — вздохнул Салазкин. — Он ведь и так рвется на части. В прошлом году к тому же сын родился у них с Таней. Таня — это жена его, тоже из «Эспады»... И такая была история! Она только из роддома, а его — в больницу. Обострение с ногой... Ты, ведь, наверно, и не заметил, что у него протез вместо левой ноги?..

— Да?! А на мотике гоняет, как рокер...

— Он еще и не такое может... Всяким приемам учил. И фехтованию. У него до армии первый разряд по шпаге был...

— А ногу... там, в Афгане, да?

— Да... Он сам про это неохотно вспоминает, но ребята все равно знают. Ему ее раздробило осколками, а он все равно отстреливался. Прикрывал отход... Его потом вытащили без сознания. Из развалин.

«А зачем ты мне такие подробности рассказываешь? Будто все без оглядки выкладываешь!» — Это опять шевельнулась непонятная обида и подозрительность. Кинтель проговорил, набывчившись:

— Наверно, Корнейч твой не обрадовался бы, если бы узнал, что ты... вот так про него все излагаешь постороннему.

— Ну, почему же?! У него от ребят секретов нет.

— Так это же от своих ребят...

И тогда Салазкин сказал:

— Даня... Корнейч спрашивал: может быть, ты зайдешь к нему? Вместе со мной...

— Зачем?

— Ну... ты же интересуешься всем, что про море... Помнишь, на теплоходе? А у нас тоже... Может быть, наберем фанеры к весне, будем строить шхуну.

— Без меня, что ли, не справитесь? — буркнул Кинтель.

Помолчали. Только листья швырк, швырк под ногами.

Салазкин вполголоса спросил:

— Ты на что-то обиделся, да?

«Господи, да что это со мной? Будто не с Салазкиным, а с Дианой говорю...»

Кинтель сказал быстро и нарочито бодро:

— Нет, что ты! Просто... перепады настроения. Бывают в переходном возрасте.

Салазкина успокоило это скрытое извинение. Он потрепал по загривку Ричарда.

Они подошли к скамейке. Дом за изгородью, на улице П.Морозова, светился окнами. И то окно светилось. Кинтель зацепился за него глазами, попросил:

— Давай, посидим чуть-чуть.

Салазкин послушно сел. Ричард положил ему морду на колени. Кинтель тоже сел. Окно было теплым, розовато-желтым. Салазкин деликатно молчал, как молчат рядом с чужой тайной.

Чтобы Салазкину не показалось, будто здесь что-то особенное, Кинтель спросил:

— А те старые яхты... их теперь уже никак не починить?

— Легче построить новые. Потому что обшив-ка вся прогнила, рыхлая такая. Стукнешь пяткой — и насквозь. Сразу целое кораблекрушение... — И Салазкин виновато притих: спохватился, что сказал ненужное слово.

Тогда, откинувшись на спинку скамьи, Кинтель ровно спросил:

— Ты ведь слышал про пароход «Адмирал Нахимов»?

— Да... ты же говорил недавно. Я понимаю...

— Про него много писали.

— Да, — приободрился Салазкин. — Еще и недавно в «Комсомолке» статья была. Кто-то считает, что это не случайная гибель, а заговор. Чтобы какие-то документы уничтожить...

— Я не про то... — тихо возразил Кинтель.

Зачем он об этом? Чтобы такой вот откровенностью доказать Салазкину, что нет никакой обиды? Или... надежда гаснет, если долго прячешь ее в себе, не поделишься ни с кем?

А с кем можно поделиться, кроме Салазкина? Даже с дедом нельзя...

— Мать погибла на «Нахимове», — сказал он одними губами, не отрывая глаз от окна. — Так они говорят...

И тоже еле слышно Салазкин спросил:

— Кто «они»?

— Все... Отец, дед. Мол, поплыла с кем-то дышать, и вот... Она тогда с нами давно уже не жила и со мной не виделась. По-моему, ко мне ее специально не пускали, а мне говорили «далеко уехала». А потом я узнал, что она... сильно пила... Санки, это я только тебе... Ты никому...

— Я клянусь. — Салазкин проговорил это без всякой торжественности, вполголоса. И ясно сразу — это он железно.

— А потом сказали: утонула... А в прошлом году, как раз после теплохода, я иду по улице и вижу: навстречу женщина... Я... маму плохо помню, фотоснимок только один сохранился, и на нем она совсем молодая. И к тому же у меня память на лица плохая. Но тут я... как будто ме-



ня примагнитило. Лицо такое — вроде и знакомое, и... ну, как будто долго болела она. А может, и от этого... ну, если пила, а потом лечилась... А тут к ней какая-то тетка подходит, окликает: «Надежда Яковлевна»... — Кинтель кашлянул, замолчал.

— Так твою маму зовут, да? — шепотом спросил Салазкин. И Кинтеля накрыло теплом от этого «зовут», а не «звали»...

— Я подумал: может, они все нарочно мне врут... про «Нахимова». Чтобы я не вспоминал и не встречался... А она тоже... наверно, решила: «Раз я такая, зачем я ему?» То есть мне...

— Она там живет? — Салазкин тоже посмотрел на окно.

— Да... Одна. Я тогда за ней пошел незаметно, а потом про нее у здешних девчонок выведал... Знаешь, никто и не видел ее пьяной. Только всегда одинокая и будто больная... Она сюда прошлой весной переехала, квартиру обменяла... Говорят, машинисткой работает...

— Даня... А может, пойти к ней и выяснить? «Ты с ума сошел?! А если это не она? Сейчас-то хоть надежда есть...»

Салазкин понял. Виновато посопел.

Кинтель сказал:

— Мне ведь ничего от нее не надо. Только знать, что она есть... А когда вырасту, там видно

будет. Может... я ее к себе возьму... Может, она меня не совсем позабыла.

Салазкин оттолкнул Ричарда, сел к Кинтелю вплотную. Плечо к плечу. Подышал тихонько, потом очень серьезно посоветовал:

— Пошли ей открытку.

— Ты что?!

— Напиши не про себя, а так. Ну, поздравление с каким-нибудь праздником. Просто, чтобы она знала, что ты ее помнишь.

— А если... — Он заставил сказать себе самое плохое: — Если я... ошибаюсь?

— Ты не подписывайся. Просто: «Мама, я тебя поздравляю»... Если что не так, ну и ладно. Она решит, что кто-то ошибся.

— Я... не знаю. Я боюсь, Санки...

— Ты подумай. Это можно ведь и не сейчас. А... когда решишь.

— Ага. Я подумаю...

По светящейся шторе скользнула тень: кто-то прошел там по комнате. Кинтель подождал, потом поднял глаза выше дома. Над крышей, у антенны, переливалась белая звезда. Яркая такая, живая. Потом рядом проклюнулась еще одна.

А если глянуть совсем вверх, то вон их уже сколько блестит среди еще не облетевших листьев...

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Лев СОРОКИН

ПЕРЕД ВЕЧНОЙ ТИШИНОЮ

ПРОЩАНИЕ

Я родился в горах,
Я приехал к вам, горы,
Чтоб с тобой попрощаться,
Мой Южный Урал.
Заглянул еще раз я
В лесные просторы —
В голубые глубины
Природных зеркал.
Отшатнулся:
В них жизни моей отраженье,
Беспощадно правдивое,
Мне на беду.
Значит, зря я терпел
Униженья,
Лишенья,
Зря я верил,
Что верной дорогой иду.
Возвращаться обратно?
И снова — с начала?
Вряд ли времени хватит,
Тем более сил...
Золотыми опять
Стали горы Урала,
Их недаром сентябрь
Каждый день золотил.
Ох, как сердцу тоскливо
В остывающую пору,
Птицей табор с утра
Потянулся на юг.
Я родился в горах,
Я вернулся к вам, горы,
Вот и все.
И замкнулся
Мой жизненный круг.

О ЯЗЫКАХ

Вспоминаю бакинского друга
И армянского...
Как там они?
Почему же соседи друг друга
Не хотят понимать в наши дни?
А ведь раньше не в разных окопах,
А в одном
Защищали страну.
И звала их
Россией
Европа
В ту, победную нашу весну...

А теперь только споры-раздоры:
Чей язык и важней, и главней?
Но ружейных стволов разговоры
Во врагов превращают друзей,
Хоть в любой из республик союзных
Свой язык государственным стал,
Мчится грохот машин

большегрузных
И скрежещет о камни металла,
И стреляют в солдат.
И солдаты
Отвечают прицельным огнем.

Разве может язык автоматов
Государственным стать языком?

ЗАБЫВАЕМ

Очень трудно во что-то поверить
И кому-то поверить теперь:
Прорубаем в грядущее двери,
Завалив в наше прошлое дверь.

Отгребаем в былое упорней
Глыбы всех отработанных лет.
А в былом нашей Родины корни,
Корни горестных бед и побед.

Забываем о пращурах древних —
О частицах единой судьбы.
Без корней погибают деревья,
Возвышаются только столбы.

В июне нынешнего года уральскому поэту Льву Леонидовичу СОРОКИНУ исполнилось бы 65 лет. Более всего обидно, когда из жизни уходит человек с нерастраченной драгоценной способностью верить людям с во и понятия о правде, добре и справедливости в жестокое время перемен, поломавших многие представления о незыблемости устоев, сложившихся в нашем сознании. Но и после смерти поэта продолжают жить его стихи.

Скажу:
— Покой! —
А вижу я
Болото,
Стоячая прогнившая вода.
А непокой —
Безмерная работа
Речушки,
Пробивающей года.
Зато в ее прозрачности
Видны
Все галечки,
Не только валуны.

Человек надеется на что-то,
Синими губами шевеля,
Даже при паденье самолета,
Даже при крушенье корабля.
Даже перед вечной тишиною
Думою он тешится одной:
Может, смерть
не встретится со мною
Или же не справится со мной?
И тогда, конечно же,
Как прежде,
Зашумят и замелькают дни...
Для сердец
Прочнее
Чем надежда,
Не сыскать, наверное, брони.

Публикация Р. СОРОКИНОЙ

Владимир
ЗУЕВ

СЫНЫ И ДОЧЕРИ ПОЛКОВ

«Монбланы» старых газет и журналов лежат невостребованными в книгохранилищах наших библиотек. Испытываешь сердечный трепет, листая пожелтевшие от времени, ломкие, с загнутыми уголками страницы. Трудно представить, что хранят они в себе, сколько прячется за их переплетами неизвестного, таинственного, нового, — вернее, хорошо забытого старого. Периодика прошлого содержит массу уникальной, ни с чем не сравнимой информации. Предлагаю читателям несколько находок, связанных в первую очередь с историей русско-японской войны 1904-1905 годов, — сферой моих научных интересов.

Есть книги, прочитанные в детстве и запомнившиеся на всю жизнь. Такова повесть В. Катаева «Сын полка». Она вспомнилась мне, когда я, просматривая иллюстрированное приложение к газете «Русь» за 1904 год, встретил фотографию мальчика в драгунской форме, стоящего в кругу генералов. Подпись гласила: «Николай Зуев, 13-летний кавалер ордена св. Георгия».

Возникло желание узнать, кто же он, этот юный герой русско-японской войны и мой однофамилец? Начались поиски.

В бесплатном приложении к «Биржевым ведомостям» — «Дневник войны» — нашел заметку «13-летний герой». Сотрудник «Московского листка» в госпитале берет интервью у раненого однополчанина Зуева. Тот рассказал, что мальчуган переодевался в китайскую одежду и, пользуясь некоторой схожестью с местным населением и знанием японского и китайского языков, ходил в японский тыл. Однажды его задержали и, несмотря на плач и попытки разжалобить японских солдат, заставили служить в обозе. Как-то раз Зуев узнал, что русские недалеко, и когда обоз повернул назад, вскочил на коня и помчался в противоположную сторону, крича по-японски: «Дураки, ведь я русский!» По нему открыли огонь, но промахнулись.

Коля Зуев рассказал командирам о находящихся недалеко позициях противника и расположении их артиллерийских батарей. Его наградили Военным орденом (так до 1913 года назывался солдатский «Георгий»). К сожалению, дальнейшая судьба юного разведчика мне неизвестна.

Широко оповестили газеты той поры и о поступке его сверстника Павла Качелина. Отец Павла Иван Качелин, тульский крестьянин, вдовец, был мобилизован из запаса в 11-й пехотный Псковский полк. Павел не захотел расставаться с отцом и поехал с ним на Дальний Восток. На поле боя он подносил солдатам воду и патроны. Под Ляояном отец был ранен, и Павел сопровождал санитарный обоз. В пути он потерял сознание от солнечного удара и остался на дороге. Очнулся у хунзузов. Пытки не заставили его говорить. Запертый в фанзе, юный пленник услышал однажды, что по деревушке проезжает казачий разъезд, стал кричать и стучать. Казаки его освободили. За пудви в плену «Иван Качелин, 13 лет, из крестьян Тульского уезда, Тульской губернии» тоже был награжден Военным орденом IV степени.

Эту же награду под № 105320 получил воспитанник 138-го Болховского полка Николай Антонов. В сражении на реке Шахэ он попал в плен, но вскоре, воспользовавшись беспечностью спящего часового, завладел конем и

винтовкой. Беглец наверняка был бы пойман, если бы не ехавший навстречу русский кавалерийский разъезд...

В уже упомянутом бесплатном приложении к «Биржевым ведомостям» напечатана заметка о кадете 7 класса 1-го Московского кадетского корпуса Сергее Селезнев. В начале 1904 года он поехал на Дальний Восток навещать отца, подполковника В.Н. Селезнева, и.о. начальника канцелярии командующего Маньчжурской армии. Юного добровольца причислили к конно-саперной команде и определили ординаром при конном генерале П.И. Мищенко. Он участвовал в рейдах конного отряда по японским тылам, в частности, в деле 24 августа, когда пироксилиновыми патронами был подорван железнодорожный мост. 14-летний волонтер также был удостоен солдатского знака отличия — Военного ордена IV степени. Награду ему вручил лично главнокомандующий Маньчжурской армией генерал-адъютант А.Н. Куропаткин.

4 ноября 1904 года в московском частном реальном училище И.И. Фидлера проходило не совсем обычное торжество. Училище чествовало своего питомца воспитанника 6 класса Алексея Меснянкина, награжденного Военным орденом IV степени за отличие в деле под Вафангоу.

В марте юноша оставил училище, добрался до театра военных действий. Ему удалось поступить добровольцем в 8-й Сибирский казачий полк. В отряде генерала Самсонова он участвовал в лихих казачьих разведках и стычках, в том числе в бою под Вафангоу, когда самсоновские казаки наголову разгромили два японских эскадрона. А к началу учебного года Алексей возвратился в Москву и опять приступил к учению, правда, оставшись на второй год.

Не всегда побеги заканчивались столь благополучно для юных романтиков. В книге «Наши героини. Женщины-кавалеристы в войне России с Японией» (М., 1905) вскользь рассказывается о том, как на станции Суятунь были задержаны два кадета 1-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса 15 и 17 лет, ехавшие «зайцами» на войну, воспользовавшись 4-часовым отпуском из корпуса. Они были вооружены заржавленным револьвером системы Смит-Вессон и двумя настоящими казачьими шашками, купленными в Злауосте...

Война 1904-1905 годов была не первой, где полки русской армии выступали в поход, имея в списочном составе еще несовершеннолетних «сынов». На поле сражения под Смоленском (4-5 августа 1812 года) в кустах санитары наши истекающего кровью 15-летнего юношу-сибиряка А.В. Камаева. Он стой-

ко дрался с врагом и получил тяжелые ранения в обе ноги.

Предыстория Камаева такова: когда в 1811 году Селенгинский пехотный полк отправился из Омской крепости в Европу, юный патриот не захотел оставаться дома; он убедил родных отпустить его, а командование полка — взять с собой в трудный поход. Юноша перенес все невзгоды и тяжести походной жизни и беззаветно сражался с наполеоновскими захватчиками. После сражения под Смоленском Камаева отправили в Москву, а оттуда, после долгих мытарств, он возвратился в отчий дом.

Но вернемся «на сопки Маньчжурии».

В русско-японской войне участвовали и «кавалерист-девицы». Я имею в виду не только сестер милосердия из роскошных поездов «имени императрицы», но и тех молодых женщин из народа, которые оставили привычный быт, разделив с мужчинами все тяготы солдатской жизни. Вспомните хотя бы Харитину Короткевич из романа А.Н.Степанова «Порт-Артур». Этот вымышленный персонаж имел своих прототипов.

Корреспондент «Русского инвалида» П.Н.Краснов (будущий вождь контрреволюции на Дону) в одном из репортажей рассказал о переводчице кавалерийского отряда Михаиле Николаевиче. Высокие сапоги, светло-серая черкесская с костяными газырями, подтянутая тонким ремешком, серая папах, симпатичное лицо, чистые и мелкие локоны волос, ясные карие глаза, нос с горбинкой, полные губы... Взглянув мельком на фигуру отважного «тунды» переводчика, никто бы не узнал в нем женщину. Только присмотревшись к округлым мягким плечам, к широкости стана и нежности полного лица, можно было это заподозрить.

И действительно, «тундой» оказалась дочь солдата и вдова мещанина из Никольск-Уссурийского. Любовь к бродячей жизни, искренний патриотизм, понимание, что ее знание китайского языка будет полезно казачьей разведке, побудили молодую женщину забыть свой пол, надеть шаровары и сапоги и явиться волонтером. «Забудьте, что я женщина, считайте меня своим товарищем, называйте просто Михаилом Николаевичем, — заявила она генералу. — Мне ничего не нужно. Мой отец — солдат. Он воспитывал меня по-солдатски, и я разделю с вами все горести и радости боевой жизни».

В той же книге «Наши героини. Женщины-кавалеристки в войне России с Японией» (кстати, вся она посвящена женщинам и детям, участвовавшим в боевых действиях) приводится выдержка из газеты «Новое время»:

«На станции Харбин всеобщее вни-

мание привлекала к себе совершенно молодая девушка, милосивидная шатенка, одетая в бурку, косматую папаху и высокие сапоги. «Кавалерист-девица, — говорили вокруг, — девица-волонтер». И затем передавались о ней рассказы самого сказочного характера. Желая узнать правду, корреспондент обратился к девушке... Антонина Васильевна Петрова (так зовут заинтересовавшую всех девушку) жительница Саратова, где окончила гимназию, 19 лет, сирота, без всяких средств. Когда была объявлена война, она, движимая патриотическим чувством, захотела в ней принять участие в качестве волонтера. Воспользовавшись тем, что из города уходил 3-й батальон 36-го стрелкового полка, Антонина Васильевна упростила взять ее с собой.

На Байкале эшелон должен был идти походом. Она решила перейти его вместе с приютившим батальоном. Погода была неблагоприятная. 18^е при ветре. Несмотря на то, что была одета легче солдат и не привыкла к ходьбе, Антонина Васильевна выдержала все трудности 42-верстного перехода сравнительно благоприятно.

В Харбине ей, однако, объявили, что она не может идти дальше с эшелоном. Тронутые ее великим порывом товарищи по походу, офицеры 36-го полка, выхлопотали разрешение поступить ей в отделение Красного Креста в Харбине, откуда предполагали отправить в один из походных полевых лазаретов.

Первая мировая война тоже оставила нам немало примеров самоотверженности тех, кто не подлежал мобилизации. В газетах рассказывалось о 19-летней крестьянке Антонине Васильевне Пальшевой, которая под именем Антона Пальшина участвовала рядовым пехоты в Брусиловском прорыве.

Но сей подвиг, отмеченный полным Георгиевским бантом, был не единственным в ту войну. В качестве добровольца лейб-гвардии Егерского полка участвовал в боях 15-летний сын петербургского межевого инженера Всеволод Вишневецкий — сначала в 4-ом взводе 14-ой роты, затем ротным ординарцем. К 17-ти годам он удостоился трех солдатских Георгиевских крестов. Однажды в разведке вдвоем с рядовым Журавлевым они расстреляли развед немецких кирасир, а одного солдата пленили. Несовершеннолетний волонтер был зачислен в полк с письменного разрешения отца. Так начал свою биографию будущий писатель Всеволод Вишневецкий.

Во время бесславной наступательной Нарочской операции в Литве 21 марта 1916 года совершила свой подвиг доброволец 3-го Сибирского стрелкового полка 1-ой Сибирской дивизии Евгения Воронцова, дочь бухгалтера

Голутвинской фабрики в Москве. «Воронцовая, — свидетельствует журнал боевых действий дивизии, — было всего 17 лет. Принимая во внимание ее молодость, ее зачислили в команду связи, но в день атаки она категорически заявила, что желает принять участие в атаке, и отправилась в 5-ую роту.

Под сильным перекрестным огнем, пулеметными и ружейными, вместе со стрелками она достигла проволочных заграждений. Идя с винтовкой в руках, не обращая внимания на град пуль, сыпавшихся на наступающих со стороны противника, она своим спокойствием заражала всех окружающих.

У проволочных заграждений атакующие цепи приостановились. Воронцова первая нашла проход на разрушенном участке проволочных заграждений противника и с криком: «Братцы, вперед!» устремилась к германским окопам. Многие последовали ее примеру. Но через несколько шагов юная героиня пала мертвой, сраженная вражеской пулей». Вскоре и весь полк с большими потерями отошел на исходные позиции.

Аналогичный подвиг совершен сестрой милосердия 105-го пехотного Оренбургского полка Риммой Михайловной Ивановой в 1916 году. В оборонительном бою, когда вышли из строя все офицеры одного из батальонов, в критический момент боя она вооружилась винтовкой раненого солдата и молодым срывающимся голосом командовала батальоном: «Солдаты! Слушайте и передайте мою команду: залпом — огонь!»

Это, однако, не остановило германскую пехоту в рогатых десках. Когда ее цели были в каких-то десятках шагов от русской траншеи, женщина встала в полный рост, в косынке и с поднятой винтовкой, заставив на миг прекратить огонь и наступающих, и обороняющихся: «Батальо-о-он! За Россию, в атаку, вперед! Ура-а-а!»

Противник не выдержал стремительного удара. Рукопашный бой переместился на ту сторону проволочных заграждений. Опасаясь, что русские ворвутся в их окопы, немцы открыли отсекающий оружейный и пулеметные огни. Батальон отступил, унося раненых. Смертельное ранение получила и Римма Иванова. Ее подвиг вскоре стал широко известен в России; она удостоилась Георгиевского креста IV степени.

Официальная печать широко рекламировала факты участия несовершеннолетних и женщин-патриоток в русско-японской и империалистической войнах, особенно их подвиги и награды. Самодержавие пыталось поднять падающий боевой дух армии, заставить взрослых мужчин сражаться за чуждые и непонятные им интересы. ■

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

ЭСПЕРАНТО

«Эсперанто — искусственный международный язык, созданный в 1887 году варшавским врачом Заменгофом... Корни слов эсперанто взяты из наиболее распространенных европейских языков».

Словарь иностранных слов

На раскисшем мартовском плацу шло строевое занятие курсантов. Плац, казармы, весь военный городок были не настоящими: эвакуированное с Украины военное училище разместили в бараках пристанционного поселка, а строю учили на спешно расчищенном товарном дворе.

— Ножку, ножку! — лениво покричали сержанты в отсутствие взводных и старшин. На втором году войны народ в училище собрался разношерстный: от вчерашних школяров до почтенных инженеров и педагогов. В нашей роте были еще и артисты. Но даже среди этой нестроевой публики выделялся курсант Цитович. При гвардейском росте был он медлителен и неуклюж.

— Ножку, Цитович, ножку... — повторял отделенный, не питая никакой надежды на успех. Огромная «ножка» гнилась, подобно паровозному рычагу, и башмак с размотавшейся обмоткой шлепался в жидкую грязь. Ботинки эти были гордостью ротного старшины Голуба. Когда нас обмундировывали, то обувь военного образца подыскать для Цитовича не удалось — мала. С неделю он маршировал в гражданских штиблетах. Сочувствовавший ему, тоже рослый старшина измаялся в поисках и нашел подходящую пару бог весть какого размера верст за тридцать, в старинных военных лагерях. Взводный острослов Лапкин, в недавнем прошлом джазист, объяснил, что ботинки эти хранились в цейхгаузе еще с русско-японской войны.

При всей симпатии к Цитовичу, земляку-белорусу, старшина непрестанно его воспитывал:

— Ну какая же ты заправочка у вас. Извиняюсь, бабы сукенку так не носят, — и нежно, как девичью талию, обнимал, стягивал обвисший брезентовый ремень. — Вот и бруки подтяните. Вам же командиром быть, по-старому офицером...

Ни один мускул не дрожал на крупном лице курсанта, светло-голубые, казалось, прозрачные глаза смотрели вдаль. Его безразличие, отрешенность

бесили земляка с четырьмя треугольниками в петлицах, и тот взрывался:

— Слушайте, что ховорю... Строй... это вам не эту... биологию преподавать. Строй — святое место!

— Чего это старшина к вам цепляется? — спросил я Цитовича на перекуре.

— Что вы, — густым рокошущим басом удивился тот. — Скорее, он самоутверждается. В его положении это необходимо.

Он был прав. Вот кто действительно прискребался к неуклюжему гиганту, так это заместитель командира батальона майор Фитолин. Он внезапно, как чертик из коробочки, возник в казарме, и непременно ловил нас на каком-либо прегрешении. Смуглый, с тонкими усиками, красавец и щеголь, он звонко восклицал:

— Раз-зговорчики в строю! Вы не в фоз-э театра.

Кто-либо в ответ хихикал.

— Прэ-экратить с-смехучеки. Шагом марш!

Фитолин сразу же заметил странную походку Цитовича и приказал ему выйти из строя.

— Ну-тес... Прошу пройтись... Марш!

Нах неловкий товарищ зашагал, одновременно поднимая правую руку и правую ногу, а потом левые руку и ногу. Такая походка встречается нечасто.

— Спе-эктакль, — продолжал Фитолин. — Так конь-иноходец скачет: то правые ноги, то левые... Ну, спектакль, ино-ходец!

Никто не засмеялся. Цитович круто повернулся и встал в строй. Майор криво улыбулся:

— Ла-адно. Старшина, тренировать дополнительно.

Мы постепенно узнавали друг друга. Близкие знакомства, откровения чаще всего случались на ночных дежурствах, в нетопленном бараке, у столика дневального и бачка с питьевой водой. Там, нередко поступаясь сном, вели разговоры, предавались воспоминаниям. Что касается Цитовича, то и с ним разговор завязался на ночном бдении. Я проспал, опоздал на смену и ждал упреков на-

парника. Но тот молча стоял под тусклой лампочкой, держа у глаз небольшой томик. На обложке был немецкий заголовок. Я стал извиняться, Цитович кивнул и продолжал читать.

— Что, интересно?

— Очень.

— Кто написал?

— Гейне. «Путешествие по Гарцу».

— Так вы свободно по-немецки читаете?

— Пожалуй, так.

— Когда научились?

— Видите ли, городок у нас небольшой. Точнее — местечко. В школе часто отсутствовали преподаватели иностранного языка. Пришлось заменять. Ну и освоил потихоньку — сначала немецкий, а через несколько лет и английский, но его знаю похуже. Жаль, нет с собой английского словаря. Драпали, но до него было.

Да, силен Цитович. Мне и один немецкий толком не удалось освоить, хотя преподавала природная немка, так и не пробился через артикли и плюсквамперфект.

— Здорово, — восхитился я. — Два языка. Способности большие!

— Не думаю. В нашем местечке не только белорусы живут, но и русские, поляки, евреи, литовцы... Росли вместе, с детства разную речь и усвоил. Заговорил.

— Ну ладно — немецкий. Пригодится. С фрицами воюем. Хенде хох! А английский причем?

— Все в жизни причем. Может, с англичанами или американцами встретимся. — Его обычно сероватое лицо неожиданно порозовело. — Знаете ли, есть совершенно замечательный язык, простой, доступный каждому. На нем может разговаривать весь мир. Знаете о таком?

— Как же, что я, про эсперанто не слышал?

В предвоенные годы этот придуманный язык вызывал немалый интерес. Здорово ведь: вместо десятков выучи один и общайся. Спустя десятилетия узнал, что среди эсперантистов был и знаменитый разведчик Николай Кузнецов.

Положив на тумбочку немецкий томик, Цитович принялся мне объяснять, как устроен международный язык. При этом его рочочущий бас сменился нежным журчанием. Как потом заметил наш джазист Лапкин, у неуклюжего гиганта было два голоса, один как барабан, а другой как флейта.

— Этот язык гениально прост. Берутся корни слов из распространенных языков и к ним присоединяются аффиксы... Ну, различные суффиксы и префиксы...

Внезапно наш ночной урок был прерван. Дверь барака распахнулась, и перед нами предстал Фитолин. Мы еще не знали о том, что он в предутренние часы совершает вылазки, да еще, случается, подслушивает под дверь. Я и Цитович замерли в неловких позах. Последний, как действующий дневальный, забормотал:

— Э-э... товарищ... э-э... капитан...

— Майор, — просуфлировал я.

— Да, конечно, майор... Дневальный курсант... — его заклонило.

На смуглом лице Фитолина появилась нежная улыбка:

— Что же это вы, интеллигентный человек, не можете усвоить воинских званий, ай-яй-яй! Извольте на посту книжечки почитать. Романчики. — Майор взял томик Гейне. — Не-мец-кая. А в русском запинаетесь, господин... как вас? Эс-пе-ранто?

Слушая тогда Фитолина, я подумал, что этот тыловой щеголь так и ускользнет от фронта. Спустя несколько лет после войны убедился, что был прав. А в ту ночь неудачного нашего дневальства майор наказал кничочка нарядами вне очереди, кажется, десяток дней мыть в казарме полы. Цитович, надо сказать, ловко управлялся с мокрой тряпкой: помогал холостяцкий опыт. Но вскоре его помиловали. В полночь нас подняли по тревоге и повели на станцию разгружать эшелоны с мукой. Кряхтя и постанывая, мы взваливали на спину тяжеленные кули и, пошатываясь на сходнях, тащили в пакгауз. А курсант Эсперанто — так в роте стали называть нашего полиглотта — играючи поднимал мешки: на одну нашу ходку приходилось его две.

Через несколько дней Цитович снова отличился. Настала пора тактических учений с боевой стрельбой, пришлось много и трудно шагать с полной выкладкой, а пулеметы тащить на себе: кто станок, кто тело «максима». Иные выдыхались, часто просили подмены, а Цитович как положил на плечо увесистое тело пулемета, так и нес без передыху. Заметив, что старшина тяжело шагает под грузом, перенял его и доставил к самому огненному рубежу.

В роте зауважали неуклюжего богатыря, и прозвище «Эсперанто» произносили уже ласково. Однако старшина Голуб, очевидно затаил в душе обиду и зависть к нему: как же так, старый служака уступает необученному штатскому, и при случае попытается отыграться. Голуб заслуженно считался большим знато-

ком пулемета «максим», учил нас сборке и разборке, правилам стрельбы и нередко экзаменовал. Однажды, объяснив сложные задержки пулемета при стрельбе и способы их устранения, он сразу же потребовал повторить:

— Ну-ка, курсант Цитович, все пятнадцать задержек. Прошу к пулемету.

Каково же было его изумление, когда учитель из белорусского местечка, необстрелянный шпак, отработовал их одну за другой и показал, как устрани-

— Вот это да, товарищ... Эсперанто!

Ко дню выпуска из училища все наше начальство, кроме Фитолина, числило Цитовича в передовиках, и ему в числе немногих досрочно было присвоено звание лейтенанта. Лишь Фитолин процедил сквозь зубы: «Вот и Эсперанто в командиры инспекты. В нашем взводе любили переиначивать на свой лад известные песни. И после выпускных экзаменов, когда на радостях разжились бутылкой местного первача, бывший джазист Лапкин запел на мотив «Прощай, любимый город»:

Прощай, курсант Цитович,

Ты станешь лейтенантом...

На фронт мы с ним ехали вместе: попали в одну пулеметную роту. Когда эшелон подъезжал к Воронежу, появились немецкие самолеты. Взвод Цитовича располагался на платформе. Крупнокалиберные пулеметы смотрели в небо. Бомбардировщики шли тройками, первая наклонилась и с посвистом ринулась к эшелону. Цитович выпрямился, напряжился и грозным голосом закричал:

— Взво-од! — тут же «споткнулся». — Э-э... По пулемету!.. Тьфу... По дзоту... По самолету... Огонь, огонь!

Первая тройка пикировщиков успела отбомбиться, к счастью для нас, неудачно, остальные, встретив огонь, отвернули. Цитович смеялся: «Эх я, — Эсперанто!» Второй налет принес удачу: один «юнкерс» был подбит и ушел, снижаясь и дымя.

Прошла неделя. Рота занята огневые позиции, прикрывая с воздуха танковый батальон. Мы успели отрыть окопы для пулеметов и личного состава. Ночью немецкие самолеты забросали окрестности листовками. Полковой особист-уполномоченный СМЕРШа приказал собрать вражескую пропаганду и, ни в коем случае не читая, сдать ему. Однако лейтенант Цитович, уютно устроившись на бортике окопа, разложил вражеские листовки на бруствере и принялся за чтение. Проходя мимо, я его предостерег:

— Цитович, укройтесь в окопе и сожгите эту дрянь.

— Что вы, кругом такая тишина... Да и весьма любопытно вникнуть в эту писанину.

Действительно, было тихо. Лишь позднее, повоевав, я понял, что за такой чуткой тишиной следует арталет или артподготовка, когда грохот закла-

дывает уши и даже визга осколков не слышно.

— Вот я вам прочту, — продолжал Эсперанто. — Насладитесь их невежеством. Они полагают, что наши женщины, которые тут окопы рыли, будут в восторге от их прихода: «Певай, Катюшья, плясай, Марьюшья». Каково! Или вот пропуск для перехода в плен, на одной стороне по-русски, на другой по-немецки. И чего только не общают: и вкусную еду, и выпивку, и свободу, и неприкосновенность. Ну какой идиот этому поверит...

Я хотел сказать, что и такие могут найтись, ведь в наших котелках негусто, но раздумал.

— Ох, Цитович, дойдет до особиста...

— Ах, надоело. Надо же понять, что у фашистов за душой, — и уткнулся в листовку.

Только я дошел до своего окопа, как грянул орудийный выстрел и за ним близкий разрыв. Что это? Случайный? Пристрелка? Восстановившуюся тишину пререзал крик:

— Лейтенанта... Нашего лейтенанта!

Могучее тело Цитовича разметалось у окопа, кровь заливала голову, струилась по немецким листовкам, уходила в песок. То был первый снаряд, упавший на позиции нашей роты. И первая наша жертва. Осколок ударил в висок учителя из белорусского местечка, человека чистой души и неумейной любознательности. Полиглотта, который изучил еще и придуманный для всего человечества язык. Эсперанто, Эсперанто, ты верил, что этот язык принесет планете мир и дружбу. Свершится ли такое?

В наше время люди все охотнее учат языки. Говорят, что снова заинтересовались эсперанто... Дай им Бог!

Недавно Семену Борисовичу Шмерлингу исполнилось 70. Не часто последнее время балует мы своих авторов юбилейными приветствиями, но тут — случай особый. Боевой офицер, прошедший всю войну от Москвы до Берлина, получивший за храбрость пять орденов, в том числе «Боевое Красное Знамя» (это — не считая 24-х благодарностей Верховного Главнокомандующего и медалей), военный журналист, проделавший по долгу службы тысячи верст по уральской земле и ставший участником великих и драматических событий нашей послевоенной истории... Впечатления его жизни, раздумья — в 18-ти изданных книгах, сотнях публикаций в газетах, журналах, среди которых «Уральский следопыт».

Он по-прежнему активно трудится, продолжает работу писателя, публициста, общественного деятеля. От души поздравляем его с юбилеем и Днем Победы. А в его лице — и все фронтовое поколение наших читателей. Поколение, которому в последнее время так часто забываем мы платить свои долги...

Александр ДМИТРИЕВ

КАЗАЧЬЕ ЗОЛОТО

Когда на московском престоле утвердилась династия Романовых, на юго-востоке Руси возникла линия пограничных крепостей, которые ограждали Русь от башкирских и казахских феодалов.

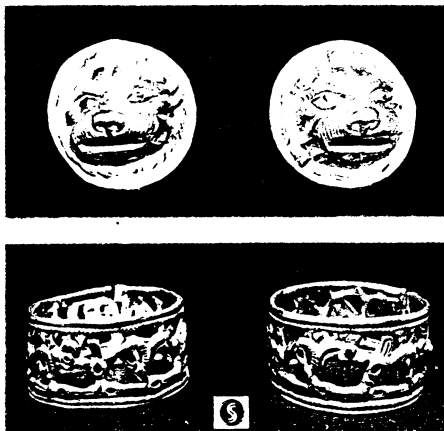
Оренбургская, а позднее Троицкая крепости стали одновременно и пунктами транзитной торговли с Востоком. Кроме тканей и пряностей, казна черпала отсюда и валютные ресурсы — золото-серебро в персидской и индийской монете. За неимением благородных металлов Россия расплачивалась за них пушшиной, икрой, осетровыми балыками. Словом, дороговато обходилось импортное сырье для чеканки металлических денег. Вот почему на Урал, Алтай, в Забайкалье одна за другой шли партии рудознатцев; дабы избавить Отечество от иностранной зависимости.

Забрезжила была надежда, когда в 1745 году Ерофей Марков наткнулся на золотые крупинки неподалеку от Березовского завода. Да и погасла... Рудное золото таилось глубоко под землей, закопанное в броню твердейших пород, насыщенных коварными грунтовыми водами. Добыча обошлась бы себе в убыток.

В 1767-м казак Волохин обнаружил вкрапления золота в руде Синарского медного рудника, но разрабатывать эту «убогую» жилу Берг-коллегия тоже сочла делом нецелесообразным.

Обнадеживающие результаты получили лишь на исходе XVIII столетия. Оренбургская экспедиция Евграфа Мечникова открыла несколько золото-содержащих месторождений, и ряд из них напоминал россыпные. Порадовал Мечников надменного Павла I первыми фунтами уральского золота, намытого близ Миасского завода.

До начала Отечественной войны 1812 года геологи зафиксировали в этом районе около полутора десятков мест с явными признаками «желтого металла», а находка в 1814 году «песошного золота» березовским штейгер-



ром Леонтием Брусницыным окончательно развеяла сомнения скептиков.

Россыпное золото Урала и Сибири положило начало отечественной золотопромышленности. В 1823 году по высочайшему рескрипту в Екатеринбурге возникла комиссия сенатора В.Ю.Соймонова с целью «умножения разработки золотоносных песков».

Снаряженные по ее заданию, разведочные партии подарили российской короне немало золото-платиновых месторождений. Сознывая, что до приисков, нередко затерянных в глухих, малонаселенных углах, руки у казаков дойдут не скоро, Соймонов уговаривал министра финансов Е.Ф.Канкринна разрешить на вотчинных и казенных землях частный золотой промысел. Но уральские магнаты усмотрели в том «подрыв устоев», покушение на «заслуженные» привилегии. Стали запугивать правительство повальным воровством и оттоком золота за границу, бегством крепостных, которые-де не преминут сманить к себе отчаянные золотопромышленники. Словом, золотодобыча на Урале осталась прерогативой горного ведомства и титулованных заводоладельцев. Только в виде исключения допускались к ней отдельные представители высшего сословия да гильдейского купечества.

Особое внимание привлекли окре-

стности Миасского завода. Отряд за отрядом прочесывал небольшую долину, обрамленную Ильменами и хребтом Урал-Тау. 1823 год принес весть об открытии многообещающих россыпей. На берегах Миасса, Ашляна, Большого и Малого Иремеля спешно обустроивались казенные прииски с промывальными фабриками. Страну облетела молва о «золотой» речке Ташкунтаганке с дном, будто бы устланном отшлифованными зернами и самородками.

Заявляло о себе долгожданное российское золото. Но Александр I, боясь очередной мистификации, решил воочию убедиться в надежности месторождения. В 1824 году он совершил поездку на Урал, осмотрел прииски, а на одном из них, названном его именем, даже поупражнялся в роли старателя. Физически крепкий, хаживавший на медведя с рогатиной, царь играючи «накайлил» около 20 пудов «турфвов»... Отдохнув, ознакомился с устройством золотопромышленных механизмов и высказал удовлетворение.

В память о посещении «именного» прииска его начальство поднесло императору восьмифунтовый самородок, добытый незадолго до «высочайшего» визита Дементием Петровым. Царь был растроган не столько подарком, сколько тем, что не обманулся в ожиданиях. Он щедро наградил старателя: тысячу рублей монаршей милостью вручили лучшим мастерам и рабочим, 500 получил «именинник» — Д.Петров, столько же — остальные члены артели, причастные к отысканию самородка.

Благодаря Миасскому золоту и россыпям, отвоеванным вскоре у сибирской тайги отважным верхотурским купцом и промышленником Федотом Поповым, а также рисковыми екатеринбургскими компаньонами Аникеем Рязановым, Алексеем Баландиным «со товарищи», Российская корона избавилась от вековой иностранной зависимости в чеканке «звонкой монеты». Страна получила стабильный денежный

курс и обрела паритет во внешнеэкономических операциях.

«Золотая горячка» круто изменила судьбу поселка Миасского завода, захиревшего было по причине остановки домен. Жизнь в нем снова забила ключом, понаехала уйма разноплеменного народа, распахнулись двери кабаков и игорных домов. На глазах росли добротные каменные хоромы, появились на улицах тройки вороных да серых в яблоках...

Апогей золотой лихорадки в Миасской долине пришелся на 30-е годы XIX столетия. Здесь действовало свыше 150 приисков, в основном россыпных. Охотников до неподатливых жил находилось немного, но специалисты, наблюдавшие стремительное опустошение залежей «песошного золота» понимали, что будущее за коренными месторождениями. А потому дальновидный начальник златоустовских заводов П.П.Аносов ломал голову не только над секретами булатной стали, но и неустанно экспериментировал в технологии разработки жил. Золотосодержащие породы нуждались в измельчении, а эффективность дробилок и мельниц с водяными колесами была никудышной. Паровые же машины страдали громоздкостью: дюжина запряженных плугом лошадей не могла доставить «паровики» к приискам, раскиданным по логом и увалам. И все-таки Аносов категорично стоял за применение паровых двигателей. Шесть сконструированных им промывальных фабрик работали на энергии пара.

Однако рудное золото оказалось крепким орешком. Несмотря на растирание в жерновах, чуть ли не треть драгоценных кристаллов попадала в отвалы. Тогда Аносова осенила мысль отделять золото от минеральных примесей... в вагранках и медеплавильных печах. Закончить опыты помешало вмешательство высокого начальства. Оно испугалось «порчи казенного имущества». Стоило ли мудрить, если россыпи, казалось, не переводились?

Однако частные предприниматели сразу схватились за идею Аносова. По настоянию Демидовых ее испытывали в 1837-1838 годах умельцы Выйского завода. Увы, золото, заключенное в тагильской медной руде, в руки не давалось. Пришлось уведомить хозяев об «ошибочности» метода. Подвела на сей раз интуиция демидовских металлургов. А ведь П.П.Аносов стоял на пороге большого научного открытия, обогатившего мировой технической про-

гресс в конце XIX века. Речь идет об электролизе, с помощью которого главным образом и получают в наше время золото из так называемых комплексных, полиметаллических руд.

Недолговечная слава Миасской «золотой долины» на стыке 30-40-х годов постепенно меркла. На Ташкунтаганке, русло которой было отведено, старатели перепахивали ложе речки, изобиловавшее самородками. В одной излучине их скопилось более 50... весом от одного до семи фунтов (1 фунт = 400 грамм). В 1842 году, незадолго до прекращения работ, на месте разобранной промывальной фабрики откопали целую глыбу самородного золота на два пуда с лишним. Внешне она напоминала треугольник, по тому и вошла в учебную литературу под названием «золотого треугольника». Нашедшему уникальный экспонат Никифору Сюткину отвалили премию в 1266 рублей. По причине несовершенности старателю выдавали ее частями, дабы «не впал в безнравственность».

Истощение златоустовско-миасских россыпей не застало врасплох. Задолго до рокового момента Уральское горное управление начало фронтально обследовать Оренбуржье и примыкавшую к нему киргизскую степь. Нацеливались тоже на россыпные залежи. Стоило властям с 1842 года, вслед за Сибирью, разрешить на территории Оренбургского казачьего войска частный золотой промысел, как туда хлынул поток кормившихся от вашгерда горемык-зимогоров и «чистой публики»: отставных чиновников, военных, обеденных аристократов, надеявшихся с помощью вождельного металла разбогатеть или хотя бы вылезть из долгов.

Этническая струя взбудоражила размеренный быт уклад казачества, участились грабежи и всякого рода бесчинства. Возникла угроза заваливания отработанными «турфами» пастбищ и сенокосов, отравления ручьев и озер ртутными стоками. Казаки заволновались. Правительство, признавая роль казачества на беспокойных рубежах, обязало горное ведомство отводить прииски только с согласия поселковых и станичных атаманов. За ущерб сельскохозяйственным угодьям, самовольное перегораживание речек плотинами предприниматели штрафовались, а за особо тяжкие проступки навсегда выдворялись из казачьих владений. Кроме того, государство назначило Оренбургскому войску ежегодную компенсацию — 42,8 тыс. рублей серебром.

Главный начальник уральских заводов считал сумму обременительной, боясь, как бы 15-процентная подать с каждого фунта золота не отпугнула добытчиков. При этом ссылаясь на относительную бедность южноуральских россыпей: сибирские прииски приносили в год по 30-40 пудов, с лучших оренбургских «снялось» не более 6-7. Однако столичное руководство не удовлетворило ходатайство. Оно видело и преимущества южноуральской золотопромышленности: обилие продовольствия, рабочих рук. Казачье золото было доступно даже мелким предпринимателям.

Россыпей, где бы золото «гребли лопатой», в Оренбургских степях не оказалось. Тем не менее добыча неуклонно росла, поднявшись к началу 50-х годов до 50-60 пудов. Добывали намного больше, да вот беда — уйма золота прилипла к рукам скупщиков и контрабандистов. Ведь промыслы возникали в пограничной зоне. Сюда, на меновые дворы Оренбурга и Троицка, к зимней и летней ярмаркам из Бухары, Хивы, Ташкента ежегодно прибывало два-три каравана с хлопком, шелком-сырцом, бархатистым каракулем, китайским и индийским чаем. В обратный путь тюки загружались русским и заморским сукном, кожами тонкой выделки, незаменимыми изделиями уральских заводов: топорами, сошниками, лопатами, железной и медной («азиатской») посудой.

К середине XIX века ситуация на рынке благородных металлов изменилась кардинальным образом: теперь золото и серебро уже не импортировалось, а вывозилось из России. Из уральских и сибирских металлов, зачастую переправленных за пределы Отечества нелегально, в ханствах чеканили золотую таллю, серебряную таньгу, а о медных пулах — деньгах хивинского и бухарского простонародья — и говорить нечего. Почти все они штамповались из уральской меди.

Золото уплывало за кордон по многим караванным путям и тропам, но особой популярностью у контрабандистов пользовался торговый городок Троицк, населенный разноязычным купечеством. Не раз корпус жандармов внедрял туда агентов для выявления хитроумно сплетенной сети. И все бесполезно! Срабатывала отлаженная «система оповещения». Пока очередной дознаватель, рядившийся под разбитого купчика или безработного старателя, окольными путями добирался до

Южного Зауралья, впереди него уже бежала разоблачительная молва. «Нужные люди» из министерских канцелярий предупреждали щедрых «благотенителей». Таможенные и полицейские чины с показным усердием разыгрывали спектакль «секретного дознания», выгораживая «акул» и цепляя на крючки зазевавшуюся «мелкую рыбешку».

Но видно не зря получали жалованье офицеры корпуса. Двое из них, Иванецкий и Пузыревский, отправились в Троицк не из столицы, а из Екатеринбурга, через Оренбург, под видом горнозаводских ревизоров. Как снег, свалились они на голову «золотой мафии», накрыли подворья, откуда в степь, нередко в мешках с зерном или мукой, вывозился драгоценный песок.

Даже бывалые слухак поразил обыск в поместье бухарского купца Бутибая Аширова, безвыездно жившего в Троицке. Хоть и нашлись у «резидента» высокие покровители, уполномоченные его в тюрьму. Именно креатура Аширова скупала или выменивала золото у старателей на водку, а затем вывозила в Бухарию. По решению Оренбургского генерал-губернатора особняк и имущество Аширова были секвестрованы.

Обескураживал и правовой нигилизм «простого народа» из вольных, не видевшего ничего противозаконного в присвоении заветного песка. По народным понятиям все, произрастающее на поверхности, содержащееся под землей, являлось творением всевышнего, стало быть, «братья во Христе», независимо от звания и заслуг, имели одинаковые права на дары божьи...

Особенно нелегко было переубедить «инородцев», не признававших за государством прерогатив распоряжения землями, доставшимися от пращуров. Тем более, что от имени казны общинные земли скупали алчные дельцы, спаивавшие родовых старшин, унижавшие достоинство исконных владельцев. Беднота, зачастую подстрекаемая феодальной верхушкой, совершала набеги на прииски, разгоняла малочисленную охрану, сжигая оборудование и постройки.

Участились жалобы арендаторов на то, что вооруженные башкиры экспроприировали и тут же продавали спекулянтам хранившийся на приисках металл, либо, объединяясь в артели по несколько десятков человек, сами, крадучись, мыли песок...

Самыми выгодными партнерами «хищников» были иностранные ком-

мерсанты, платившие за желтый металл в три-четыре раза выше, чем казна. «Тайное» золото в основном стекалось к границе. Русские разведчики доносили, что эпицентр контрабандной торговли размещается в окрестностях Троицка, откуда золото переправляется за кордон. Иной раз одновременно провозили 15-20 пудов драгоценного металла, немедленно поступавшего на ханские монетные дворы. Бойко шла торговля и на базарах Самарканда, Ходжента, Бухары, Ташкента...

Для пресечения нелегальной торговли в 1847 году в Троицк неожиданно нагрянули жандармы. Они сразу обратили внимание на неудачное расположение таможенной заставы — около моста через мелководный Уй, который в летний зной могла перейти вброд курица, а не то что лихие степняки на конях. К тому же грузопоток был так велик, что таможенники едва успевали следить за уплатой пошлин.

Ужесточение контроля, замена коррумпированных чиновников, аресты крупных скупщиков давали кое-какие результаты, но отнюдь не ликвидировали преступного занятия, приносящего огромные барыши.

Но с переносом пограничной таможенной линии вглубь киргизских степей Троицк расстался со славой «золотого города». Зато все оживленнее бурлила в нем ярмарка, затмившая вскоре даже знаменитое ирбитское торжище.

Поражение в Крымской войне кроме многочисленных человеческих жертв, снижения международного авторитета, обернулось и расстройством финансов. Занявший престол Александр II приблизил к себе прогрессивных государственных деятелей, давно поговаривавших о реформах. А для их осуществления требовались огромные средства. Помимо мобилизации традиционного российского экспорта, ставку делали на развитие золото-платиновой промышленности. Равные с россиянами права на добычу благородных металлов предоставляли иностранцам. Эта мера заметно изменила соотношение казенной и частной золотопромышленности в пользу последней. Но одиночки в ней, как правило, не выжили. Льготными кредитами государственного банка пользовались делавшие погоду купеческие ассоциации.

Одна из них — екатеринбургская компания Рязановых, Казанцевых, Баландиных, Харитоновых. Она собрала неплохой урожай на таежных россы-

пях Сибири, но вытесненная оттуда альянсом «крутых» конкурентов, обратила взор на притягательное Оренбуржье. Здесь еще можно было развернуться, не касаясь локтями соперников. Состав компании пополнился корифеями южноуральских промыслов — братьями Подвинцевыми, Якушевыми, Сиговыми. Не сторонились компаньоны и мелких пайщиков. Никто не осмеливался тягаться с маститой компанией, владевшей почти 40 приисками.

Будущее представлялось радужно-лучезарным, но... оренбургские россыпные залежи куда более бедные, чем легендарные енисейско-ленские и прибайкальские, быстро «изубоживались». Рудное же золото вознаграждало лишь тех, кто не скупился на затраты, неизбежные при пробивке капитальных шахт, оснащении водоотлива, обогатительных установок и т.п. Многие из-за невежества отказывались от «чрезмерно расточительных» расходов и выходили из игры. Разгорелись склоки, и в конце концов коллектив распался.

Освоение на землях Оренбургского казачества знаменитой Кочкарской системы — это разговор особый. Обмолвлюсь лишь, что первую заявку на разведку недр неподалеку от станции Кособродской взял в 1844 году дальновидный купец Баканин, а через несколько лет в «уральской Калифорнии» разрабатывалось уже 70 приисков, ежегодно дававших около 60 пудов благородного металла. Неприметный поселок Кочкарь обрел всемирную известность. Здешние золотоносные жилы стали испытательным полигоном для русской технической мысли, опробования различных способов добычи и извлечения золота из «упорных» руд.

В золотопромышленность постепенно втягивалось и казачество, в среде которого происходило социальное расслоение. Любопытная, восприимчивая к новшеством молодежь, жадно впитывавшая во время срочной службы культурную атмосферу Петербурга, Москвы, городов Польши и Прибалтики, уже не возвращалась к хлебопашеству, а постигала науку коммерции и предпринимательства. Многие избирали при этом специальности, популярные на родине, зачиная родословную славных впоследствии имен горных инженеров, металлургов, химиков. ■

ЗАГАДКИ СВЯЩЕННОЙ РЕКИ

Во многих африканских и азиатских странах чистая питьевая вода является дефицитом и служит предметом торговли. Не только где-то в «глубинке», но даже в таких крупных городах, как, скажем, Стамбул или Дакка можно встретить в уличной толпе водоносов, торгующих питьевой водой. Но особый вид торговли водой встречается в Индии. Здесь, в долине реки Ганг, иногда в сотнях километров от нее, торгуют водой из этой реки, считающейся священной. На повозках и на ослах, на лошадях и стареньких автомобилях предприимчивые торговцы развозят в разнообразных сосудах воду из Ганга, рекламируя ее как панацею от «множества болезней».

Ученые давно уже заинтересовались гангской водой и делали неоднократные попытки выяснить, насколько утверждения торговцев соответствуют истине. В ходе лабораторных исследований было установлено, что вода долго сохраняет свою свежесть, а попадающие в нее микроорганизмы гибнут. Почему? Дальнейшие исследования показали: в гангской воде содержатся в значительных количествах антисептические вещества. Но природа этих веществ и источники их пока все еще не установлены.

Слава целебной воды Ганга уходит в седую старину. Еще в средние века индийские магараджи желали пить только воду из священной реки и купаться только в ней. В их дворцах, многие из которых сегодня стали музеями, можно увидеть большие дубовые кадки, керамические и серебряные кувшины, предназначенные специально для хранения гангской воды. Например, в музее в г. Джайпур хранится самая большая в мире серебряная посуда, некогда принадлежавшая магарадже Саваи Садха Сингху. Для путешествий за границу он приказал изготовить несколько серебряных кувшинов высотой 160 сантиметров (вес каждого — 308 килограммов). И каждый раз (было это в конце прошлого столетия), отправляясь в путешествие, магараджа брал с собой специальных носильщиков, которые тащили вслед за ним кувшины с гангской водой.

Чудесные качества этой воды были известны не только в Индии. Например, в давние времена английские моряки, возвращаясь из Индии, наполняли судовые резервуары именно водой из Ганга, и она хорошо сохранялась в течение длительного плавания.

По всей вероятности, именно целебные свойства воды и помогли Ган-

гу стать священной рекой. Некоторые богомольцы и сегодня преодолевают расстояние от истоков реки до устья (а это 2700 километров), дабы «очиститься». В традиционных праздничных купаниях, продолжающихся до наших дней, принимают участие десятки миллионов взрослых и детей. Так верующие «смаывают» грехи и «начинают новую жизнь».

Со священной рекой связаны и другие ритуалы, глубоко укоренившиеся в Индии. В частности, живет вера, что сжигание останков почивших индийцев на берегах реки поможет их душам вознестись на небо. ■

ПЧЕЛИНАЯ ВОЙНА

Это сообщение напоминало военную сводку:

«В 9.15 утра мексиканский поселок Санта-Ана на полуострове Юкатан подвергся массированной атаке множества роев диких пчел. Население было срочно эвакуировано. Власти обратились за помощью к специалистам. Только к 16 часам с помощью водяных струй, дыма костров и распыления с самолета пестицидов удалось рассеять агрессивных насекомых. Среди населения есть пострадавшие».

Увы, для Южной и Центральной Америки это сообщение не первое. За годы необъявленной войны жертвами пчел-убийц стали около 500 человек, а число погибших домашних животных в несколько раз больше. Мало того, эти пчелы уничтожают своих сородичей на пасеках, а скрещиваясь с ними, увеличивают и без того немалое свое воинство.

Что же это за напасть?

Некоторое время назад небольшое количество диких африканских пчел было завезено в Бразилию для генетических исследований. Ученым было известно, что африканские пчелы ведут кочевой образ жизни, быстро размножаются, стойки к заболеваниям и в то же время весьма агрессивны. Поэтому были приняты необходимые меры предосторожности. И тем не менее произошло непоправимое — однажды, по оплошности, несколько маток и трутней вырвалось на волю. Далее началась цепная реакция: не встречая естественных врагов, не в пример родной Африке, пчелиностранки начали быстро размножаться. Рои диких пчел нападают на ничего не подозревающих людей, случайно потревоживших их гнездо. В этом отношении они напоминают наших ос, но яд их сильнее. Они обладают чрезвычайно обостренной реак-

цией — стоит одной выделить яд, как его запах приводит в неистовство весь рой. Обычные пчелы преследуют своего врага максимум три минуты, африканские же не прекращают атак и преследования больше часа! Даже если человек попытается скрыться в воде, преследователи «зависнут» над этим местом и будут ждать, когда их жертва вынырнет. Агрессивность этих пчел не поддается описанию. Кажется, их раздражает все: шум, яркие одежды, разные запахи, резкие движения...

И еще одна особенность пчел-убийц — они постоянно стремятся к завоеванию новых территорий. Из Бразилии пчелы двинулись на север, и их атакам уже подвергались люди в Боливии, Перу, Уругвае. Из Колумбии они проникли в Панаму, а оттуда в Мексику. Когда это произошло, в Соединенных Штатах не на шутку всполошились — полчища африканских пчел двигались к их границам (скорость миграции 300-400 километров в год).

Было разработано несколько оперативных планов для отражения агрессии. В самой узкой части мексиканской территории (на перешейке Теуантепек) были установлены сотни ловушек для перемещающихся роев. Но они оказались малоэффективными.

К решению проблемы привлекли специалистов в разных областях знаний. И вот появилось совершенно неожиданное предложение — «радиофицировать» пчел-убийц. Речь идет вот о чем. Чтобы проследить путь миграции и расселения африканских пчел, было предложено помещать на отдельных насекомых микроскопические плоские радиопередатчики. Такой передатчик был разработан в лаборатории электронной техники в Теннесси. Он представляет собой инфракрасный излучатель сигналов и плоскую солнечную батарею питания. Этот приборчик весит всего 0,035 грамма и свободно умещается на спинке пчелы. «Радиофицированные» пчелы выпускаются на волю. Пчела быстро находит своих сородичей, и посредством радиопеленгации удается установить местонахождение роя и обработать его пестицидами.

Дело, конечно, дорогостоящее, хлопотное, но другого выхода пока не видят. Полагают, что понадобится несколько лет, чтобы покончить с агрессорами. Однако специалисты не слишком оптимистичны — нет гарантии, что, отступив, пчелы-убийцы не смогут сохраниться в малонаселенных районах и через какое-то время снова пойти войной. Ведь нечто подобное наблюдалось и с саранчой...

Эта история — в какой уж раз! — снова напоминает нам, как осторожно надо вести себя с природой. ■

В. РОЦАХОВСКИЙ

ЖУРНАЛ

У Р А Л Ь С К И Й
Следопыт
U R A L S T A L K E R

читают

в Канаде и США, в Европе,
Японии и Латинской Америке.

Наш тираж — 120000.

Наш журнал — это журнал для семейного чтения.

Мы согласны разместить
Вашу рекламу
на страницах нашего журнала.

Срок публикации —
по полиграфическим условиям —
3-4 месяца со дня заключения договора.

Наши телефоны:
(3432) 224-501
(3432) 223-662

У Р А Л Ь С К И Й
Следопыт
U R A L S T A L K E R



Четыре сотни лет назад сподвижники Ермака облюбовали это место для строительства крепости. Вековая тайга, богатая дичью, плодородные земли, обилие рыбы в реках и близлежащих озерах, выгодное географическое положение обусловили создание российского поселения у места впадения реки Пелым в Тавду.

Новый город занимал видное место в Сибири. Сюда приходили вогулы, остяки, чтобы уплатить ясак, купить необходимый товар, разрешить спорные вопросы. О богатстве местного края говорится в одном из томов записок Западно-Сибирского географического общества, издававшихся в прошлом веке в г. Омске. Говоря о пушном промысле, автор А. Словцев, член этого общества, отмечал, что при сравнительной малочисленности населения в Пелымском уезде отстреливалось до 5 тысяч соболей и заготавливалось до 60 тонн кедрового ореха.



Богата четырехсотлетняя история Пелыма. Проходили мимо него дружины Ермака и орды хана Кучума, красноармейские продотряды и мятежники — участники Кондинского восстания. Построенный из традиционного материала — дерева, Пелым не один раз подвергался опустошительным пожарам, выгорая практически дотла. Но каждый раз отстраивался заново, благодаря упорному труду мастеровых людей. Со времени возникновения Пелым, в основном, выполнял роль крепости-острога. Здесь отбывали ссылку братья Федора Никитича Романова — отца российского царя Михаила. Сюда было сослано немало декабристов. История гласит, что только в 1888 году в пелымский край была направлена тысяча ссыльных. Печальную историю дополнила советская власть высылкой сюда раскулаченных «врагов народа», переселенных перед войной немцев (трудармия спецпоселения). И поныне действует на территории Пелымского сельского Совета Пелымское спецотделение МВД России, берущее свои начала со времен «архипелага Гулаг».

Но и сельский Совет и лесотделение носят название Пелымских в другом поселке, а сам Пелым уже после революции начал утрачивать свое значение, отдав статус уездного города поселку Гари. Окончательно добила его хрущевская, а затем брежневская политика «слияния города и деревни», урбанизации сел, ликвидации «бесперспективных» деревень.

Александр СМОЛИН,
заместитель главного редактора
Уральского акционерного общества
«ФОТОРЕПОРТЕР»